



НУРАЛИ КАБУЛ

НЕ ОПОЗДАЙ ЖИТЬ

Перевод Д. Рубиной

I

...Предвещая начало зимы, уже к середине ноября на вершины и склоны гор лег первый снег. Чернели вдали верхушки елей да укрытые от ветра проплешины на скалах. В долине горного ручья из овчарен поднимался густой пар. Холодный резкий ветер уносил снега, но к рассвету вершины и склоны гор вновь покрывались снегом.

Зима настойчиво напоминала о себе, а я все еще находился в плену томительных осенних дум. Люблю осень, люблю ее больше других времен года. (Весна — иное, она не умещается в моем сердце. Слишком мало одно человеческое сердце для этой беспредельной красоты).

Между тем зима горопила прощание с обильной и

мудрой осенью, расстилала белоснежный подол по полям, гнала ароматы земли и дождя, те печальные запахи, что будят в сердце страстное, томительное ожидание, ворошат воспоминания, укрытые в самых потайных уголках души.

Моя любимая осень скатывалась с вершин по склонам гор, отступая в предгорья, оттуда уходила на свежеспаханые поля, с которых поднимались густые запахи влажной почвы и гузапай, сквозила тенью в прозрачных садах, теряющих последние листья, затем укрывалась в зарослях камыша вокруг озера Арнасай, выпивающего все горные ручьи, и удалялась дальше — в степь.

Кишлачные коровы, раздобревшие на остатках семян из хлопковых коробочек, косо поглядывали на тракторы, с грохотом вспарывающие пласты почвы с гузапай; тянулись жадно к последним зеленым побегам осенней пальчатки, словно предчувствуя, что очень скоро лишатся этого жирного пастбища и вернутся на голые склоны гор.

С сиденья стального плуга я любовался осенним пейзажем. Вокруг, не отставая от трактора, с гвалтом и карканьем носились вороны и скворцы, охотясь за насекомыми в разломах вывороченной почвы. Деловитые серые вороны, неуклюже переваливаясь, ковыляли мимо на расстоянии вытянутой руки, не обращая на меня ни малейшего внимания. Они старательно ковырялись в жирных пластах, склевывая червяков, забившихся в землю.

Последний урожай айвы собрали в нашем саду, где каждое дерево посажено дедом и отцом с хозяйственной сметкой — в нашем саду, перед домом с террасой, обращенной к востоку. Помню, нынешним летом ветви персиковых деревьев клонились к земле под тяжестью желто-розовых, замшевых на ощупь, плодов... Сейчас последние листья, под ласковым солнцем переливаясь теми же оттенками, словно прощались с урожаем осени. По тихому целомудренному саду летали опавшие листья.

— Что-то жаворонка не слышать, а вчера в стогу видела кизилтуша*... — сказала бабушка, щурясь на солнце. — Должно быть, холода близко, Нурулла...

Она сидела во дворе, на сури, и пряла пряжу.

* Кизилтуш — снегирь.

— Какая благодать... У осени все целебно — и солнце, и ветер. Недаром в народе говорят: на осеннем солнышке грей дочь, а на весеннем — невестку.

Она подняла глаза, и мы улыбнулись друг другу — смуглая, круглолицая, с морщинками у карих глаз, моя бабушка сама была похожа на благодатную осень..

* * *

За неделю до Нового года ударили морозы. На промерзшую, словно каменную землю выпал глубокий — по пояс — снег, и односельчане, вроде бы и ожидавшие зиму, но, как всегда, не успевшие до морозов переделывать всех дел, засуетились, встревожились; кто умчался за углем на попутном самосвале, кто принялся утеплять крышу овчарни, латать и плести плетень, кто бросился осматривать шифер на кровле и подноглять желоба.

...Приблизительно за месяц до этих лютых холодов в совхоз назначили нового директора. Привез его и представил на общем собрании лично Ибрагим Кучкаров — неугомонный первый секретарь райкома. Но, представляя нового директора, был сдержан, петъ хвалу не стал, сказал просто:

— Опытный партийный работник, последние годы находился на посту секретаря горкома партии...

По залу пролетел шумок, словно вздох, многие выразительно переглянулись, как бы спрашивая друг друга: «Ведь это тот самый Кулматов?»

— Если работал в городе секретарем, то и надо было назначить его директором завода или чего там еще. Ну что он в совхозе делать будет? — пробормотал себе в усы бригадир зерноводческой бригады Эшбай Джаббаров. — И сам намучается, и людей замучает...

Его сосед беспокойно заерзал на стуле, оглядываясь по сторонам.

— Потихе, как бы не услышали, — прошептал он.

— А что? Говорю что думаю, чего тут шептать? Очередная «мягкая посадка», видно... Народ говорит, что его супруга любила брать подношения и тем самым скомпрометировала мужа.

— Э-э, придержи язык! — сосед бросил на Джаббарова хмурый взгляд и отвернулся, явно не желая поддерживать разговор.

...Приготовленный в совхозной гостинице «чай» так и остался нетронутым. Кучкаров распрощался с активом совхоза и, пригласив с собой знатного чабана Садыка-бобо Мамарахимова, уехал в соседнее хозяйство. Новый директор тоже возвратился в город на попутной легковой машине. Оказывается, он принимал курс укол-ов, а в этом деле, как известно, нельзя пропускать ни дня.

Собравшийся в просторной столовой гостиницы актив во главе с парторгом Нарзиевым, шумно прихлебывая, съел сначала шурпу, затем и плов. Негромко переговаривались:

— Говорят, новый директор свояк первого секретаря обкома?

— Э-э, брось, если б он был своим в обкоме, разве б его убрали из горкома?

— Кучкаров-то рекомендовал другую кандидатуру на должность директора совхоза, а обком не утвердил. Приказали брать этого. А Кучкаров разве откажет?

— Помалкивай, Нарзиев услышит — неприятностей не оберешься...

— Ладно, поживем — увидим...

Назавтра, как всегда, день начался с повседневных забот. В приемной директора уже сидели рядком бригадиры, старшие чабаны и управляющие отделений. Самого директора еще не было.

По коридору сновали члены правления совхоза, озабоченно заглядывали в приемную, усталую истертой дорожкой, — каждый с тревогой ждал вызова к новому начальству.

И только парторг Низамиддин Нарзиев ждал Кулматова во дворе, спокойно расхаживал по асфальтированной дорожке. Он один знал час приезда директора, потому что с утра отправил к нему машину. Нарзиев был глубоко убежден, что после директора является вторым человеком в совхозе, и старался вести себя соответственно: держался с важным достоинством, посматривал искоса и говорил мало — и то сказать, не выдавался голосом Нарзиев, не вязался с осанистым видом его дребезжащий тенорок...

Спустя час после ожидаемого срока в низине наконец показался желтый «УАЗик». Нарзиев одернул пиджак и бодрым деловым шагом пошел навстречу машине.

Кулматов сдержанно поздоровался в ответ на приветствие Нарзиева.

— Ну, как? Все в порядке?

— В порядке, Кадыр Кулматович. Но есть несколько дел, которые надо бы обговорить.

— Что ж, обговорим...

В приемной директор за руку поздоровался со всеми ожидающими приема и прошел в свой кабинет. За ним неслышно вошел Нарзиев и притворил за собою дверь. Несколько минут он почтительно молчал, ожидая, что директор заговорит первым, но тот не торопился — пересмотрел какие-то бумаги у себя на столе, открыл сейф, заглянул в него и снова закрыл. Осваивался в своем новом кабинете... Наконец Кулматов сел напротив Нарзиева за длинный стол, примыкающий к письменному.

— Так о каких делах вы хотели поговорить?

— Хотел уточнить, где вы собираетесь жить? В нашей гостинице неплохие условия, — проговорил Нарзиев, заглядывая в непроницаемое лицо директора, как бы стараясь разгадать, что прячется за этим спокойствием. — Но подходящего дома для вашего переезда пока нет.

— Так... Сколько комнат в гостинице?

— Десять. Хоть завтра переезжайте. Один из директоров там жил.

— А будет ли удобно? — засомневался Кулматов.

— Ну, тогда коттедж построим... За месяц, пожалуй, построим, — прикинул Нарзиев.

— Ладно, подумаем... Пока буду ездить из города. Мне необходимо ежедневно принимать уколы.

Нарзиев понял, что пора перейти к главному вопросу. Он старался говорить осторожно, выбирая убедительные слова.

— Кадыр Кулматович, в вашей приемной сейчас сидят несколько человек, это старшие чабаны. Они принесли вам на подпись акты о падеже овец, которые накопились за те три месяца, что не было директора. Так вот, считаю своим долгом сообщить, что главный зоотехник не хочет брать ответственность за эти акты... Как бы у вас не было неприятностей. Овцы пали до вашего приезда, пусть зоотехник и отвечает. — Нарзиев слегка подался вперед, наклоняясь к директору, и доверительно добавил: — В крайнем случае можно заставить самих чабанов возместить убытки. У каждого из

них по сотне собственных овец, вот пусть и платят. Послушайте мой совет: если не приметесь за дело жестко, они на голову сядут. Так скрутят, что вздохнуть не сможете.

Директор внимательно слушал его, молчал, задумчиво вертя шариковую ручку.

— Ну, хорошо, — наконец сказал он. — Передайте чабанам, чтоб обращались к зоотехнику, и вообще, впредь подобные вопросы пусть решают с ним.

Нарзиев удовлетворенно кивнул и, осторожно ступая, словно боясь разбудить кого-то, пошел к дверям.

— Кто здесь с актом на подпись? Обращайтесь к главному зоотехнику! — громко объявил он в приемной, аккуратно прикрывая за собой дверь кабинета.

Чабаны зашумели, повскакивали с мест.

— Но зоотехник отказывается подписывать!

— Что ж, мы этих павших овец воскресим, что ли?

— Не знаю, не знаю! — повысил голос Нарзиев. — Утрясайте вопрос с зоотехником. Скажите, что директор велел разобраться.

Чабаны — расстроенные, понурые, вышли из приемной и долго стояли гурьбой в коридоре, совещались.

— Этот гад уже успел нашептать на ушко, разъяснил положение... Не может быть, чтоб директор с этого начал работу! — возмутился чабан Тагбай.

— Зайдем, братцы, выясним!

— В самом деле! Ну, не подпишет акты — бог с ним, есть о чем другом поговорить.

А в приемной Нарзиев отдавал распоряжение девушке-секретарше:

— На прием к директору записывай заранее — имя, фамилия, должность. Придет посетитель — зайди в кабинет, спроси — примет или нет. Довольно панибратства, какое было при бывшем директоре, — к тому, бывало, каждый чабан запросто заходил... Да! Утром приди пораньше, пыль вытри, цветы полей. И чтобы в приемной народ не толпился.

Среди тех, кто горячо обсуждал в коридоре — идти ли с актами к главному зоотехнику или вернуться на прием к директору, — был старший чабан четвертого отделения Абдумалик Мирзаев. До прошлого года этот поджарый энергичный парень с быстрым взглядом горячих глаз работал учетчиком на овцеводческой ферме и заочно учился на зоотехническом факультете Самаркандского сельхозинститута... Но в прошлом году, бли-

же к зиме, стряслась беда с его говарищем, чабаном Абдусаматом. Нелепая, трагическая смерть: в гололедницу Абдусамат ехал на мотоцикле и, не сумев притормозить, на полном ходу врезался в прицеп трактора. Осталась в Мохидаре бесхозная отара Абдусамата... Как ни старался директор подыскать для отары старшего чабана, ничего не получалось. Абдумалик долго думал — целую ночь все ходил по комнате, от окна к двери и обратно, выходил во двор, смотрел на белую, словно заледеневшую от мороза, луну и, наконец, решился. Утром зашел к директору и просто, спокойно выложил: мол, принимайте меня вместо Абдусамата. Директор даже вскочил от радости — подошел, обнял его.

— Ну, братишка, молодчина! Считаю — я твой подпасок. Что ни прикажешь — все сделаю, — сказал он сердечно. — Вот это и называется — настоящий комсомолец! Да что там — тебя в партию пора принимать! Я лично дам тебе рекомендацию. Такие, как ты, должны быть коммунистами.

Абдумалик не ожидал такого, сильно смутился.

— Да вы мне только хорошего подпасака найдите, — пробормотал он, — а больше мне ничего и не надо...

...Абдумалик не рвался на прием к новому директору. Он решил вернуться в Мохидару этим же вечером.

«Погорел я на три овцы, — размышлял он по дороге к дому, — но это бы ничего, если б знать, что дальше дела выправятся... Боюсь, не повезло нам с директором...»

Дома он был немногословен, торопился, обедать не стал, отхлебнул только чаю из пиалы. Мать, напротив, сегодня разговорилась, разулыбалась — в последнее время ей редко доводилось видеть сыновей (младший, Турсунбай, тоже был в Мохидаре — подпаском), и сейчас, собирая старшего в дорогу, она говорила без умолку: рассказывала кишлачные новости, то и дело любующимся ласковым взглядом окидывая заметно возмужавшего Абдумалика.

— Вот здесь, сынок, лепешки, кислое молоко. Вроде все собрала... Что же ты не ешь ничего? Смотри, как похудел за последний месяц. Все торопишься, все наспех, все боишься опоздать куда-то. — Мать подседа к сыну, налила и себе чаю в пиалу. — А я так редко вижу тебя.

Он улыбнулся рассеянно.

— Ничего, мама. Как поется в песне, «все у нас впереди...»

— У тебя — впереди, сынок... А у меня уже очень многое позади, и одному аллаху известно, сколько мне еще отпущено. Я мечтаю о том, чтобы хоть дни моей старости согрелись теплом.

Сын понял, что мать заговорит сейчас о том, что беспокоит ее уже давно.

— Хочется мне внуков увидеть, Абдумалик, хочется в своем доме услышать детский голос, понимаешь, сынок? Хочется, чтобы этот голосок назвал меня бабушкой. Устала я... Устала ночами думать. Только и мысли о тебе да о Турсунбае. Конечно, это хорошо, что ты близко к сердцу принимаешь все совхозные дела, но, сынок, надо и о своем благополучии подумать. Учетчиком был на хорошем счету, вот бы и работал спокойно — дом, мать — все под боком... так нет — дал обвести себя вокруг пальца, дал уговорить себя перейти в чабаны. Ты как покойный твой отец, никому отказать не можешь. А зачем тогда учиться, спрашивается? Овец гонять и неграмотный может. Люди вон говорят: «Видно, Абдумалик хочет орден получить и героем соцтруда стать, если в чабаны подался».

Абдумалик расхохотался так, что чай выплеснулся из пиалушки в руке.

— Ну, никак не могу объяснить вам, мама, — сказал он, отсмеявшись. — Никто меня не уговаривал, сам я напросился. Вы же знаете, я упрямый. А насчет образования... Пока, может, людям и в диковинку, что человек с образованием в чабаны подался, а в будущем неученому не то что отару — кролиководческую бригаду не доверят.

— Не знаю, — вздохнула мать. — Я в этих умных разговорах ничего не понимаю. Знаю только, что и в будущем никакая работа не заменит жену, детей. Наоборот, когда у человека семья крепкая, то любая работа спорится. В народе так испокон веку идет: парню следует вовремя жениться... А счастье не станет тебя дожидаться. Чем больше ты будешь робеть, тем дальше оно от тебя уходит. — Голос матери дрогнул, и она отвернулась.

Абдумалик, с серьезной ласковостью глядевший на мать, поднялся и подошел к ней.

— Да я за этим самым счастьем пешком пошел бы в Мохидару, мама! — негромко проговорил он, прикинув головой к ее плечу.

— Знаю. Я верю в твою работу, сынок. Но я хочу,

чтобы жизнь твоя была полноценной. Хочу, чтоб и мои старые плечи осветило солнце, чтобы невестка подхватила работу из моих слабеющих рук.

Сын заглянул в глаза матери, повлажневшие от слез. Впервые она говорила с ним так серьезно, так проникновенно. И впервые в душу его закралась тревога за ее здоровье. Он улыбнулся, чтобы развеять как-то грусть, и воскликнул, обнимая мать:

— Все так и будет, мама! Как порешите, так все и сделаю. Только чур потом не жаловаться, что мои дети заморочили вам голову.

— Не говори так, сынок! — всерьез обиделась она. — Разве я скажу такое о своих внуках! В народе говорят — детей на плечах носят, внуков — на голове.

— Ну, я поеду, пожалуй... — он поднялся, но мать мягко придержала сына за руку.

— Не спеши. Успеешь на эту свою работу. Побудь немного возле матери. Она ведь не вечная, сто лет не проживет. Что за время пришло, господи, — со своим ребенком всласть не наговоришься! Да, кстати, ты все еще переписываешься с дочерью лесника Усманкула?

Мать задала вопрос вскользь, словно ее не очень это интересовало, но Абдумалик смутился.

— Какая еще переписка! — буркнул он, покраснев, как мальчишка.

И мать осталась довольна его смущением.

— Думаешь, я не знаю! — лукаво улыбнулась она. — От меня тайны скрывать — бесполезное дело. Змея под землей шевельнется — и ту учую. Про материнское сердце не зря песни поют. Не понимаю только — к чему тянуть! Давай я наведаюсь к ее родителям, все обговорю.

— Охо-хо! Какая вы быстрая! — Абдумалик решил обратить все в шутку. — А ну как ее родители не пожелают отдать дочь за чабана?

— Пусть попробуют! Костьми лягу у их порога! — мать оскорбилась от одного только предположения.

— Не переживайте, мама, — усмехнулся сын. — Всею свой срок. Пусть закончит учебу, да и я к тому времени диплом получу...

Мать молча собирала сына в дорогу, обе половинки хурджуна туго набила лепешками, сюзьмой, фруктами. Когда же Абдумалик сел на коня, она, пристально и нежно глядя снизу на сына, проговорила негромко:

— Наверное, ты прав, сынок. Друг друга дождаться, добиться, прорваться через долгую разлуку, тогда и любовь будет крепче и радостней.

...В полдень Абдумалик достиг урочища Тераклисай. В Мохидару надо было поспеть до заката солнца. За семь верст обходили чабаны это беспокойное место. Удобная для зимовки скота, запрятанная в глубине гор Мохидара за многие годы приобрела дурную славу. Редко кто из чабанов выдерживал испытание ледяным горным ветром да нападением на отару кровожадных волков Жандарлиса.

Голые холмы постепенно сменялись заросшими миндаем и арчовником. «Странное дело, — думал Абдумалик, глядя на холмы, говорят, всего несколько десятилетий назад все вокруг было покрыто густой растительностью. Но люди годами вырубали деревья на растопку, и природа отомстила — обмелели источники, оскудел животный мир предгорий. Теперь спохватились, стали сады разводить на холмах, в низовьях расчистили засыпанные родники, и вновь появилась вода. Пора бы уже понять, что природа не прощает неблагодарности. А сейчас хлопок сажают всюду, теснят фруктовые сады, и тем самым опять-таки нарушают равновесие в природе. Ну, каково крестьянину, работающему на хлопковом поле, обходиться в зной без тени, без фруктов? При таком положении, того и гляди, иные фруктовые деревья в «Красную книгу» угодят.

Почувяв влажный воздух Мохидары, конь заржал и припустил рысью. Осенний порывистый ветер приносил с гор пронзительные ароматы зрелых трав. Возникла и оборвалась песня кеклика, отбившегося от стаи, и эхо унесло эту песню ввысь. Слышно было, как птица с шумом улетала в сторону горного ручья.

Показался домик, где жили чабаны. Возле дома, сидя на задних лапках и запрокинув голову, протяжно даял сторожевой пес.

II

— Турсунбай бросил отару! Сбежал, негодяй! Абдумалик остался один! Один-одинешенек в этом огромном ущелье! Что будет, если он замерзнет? — кричал отец в возмущении. — Что ж у них в сердце — ни жа-

лости, ни любви друг к другу? Родные братья! Нет, лучше умереть, чем быть таким вот братом! Да что ж это творится? Настанет день, когда отцы и дети не захотят знаться!

— Что, что случилось, отец? — мама испуганно бросилась к нему, но отец продолжал возмущаться, не замечая никого вокруг.

— Абдумалик тоже хорош! Неужели нельзя подействовать на младшего лаской и человеческим словом? Дождались позора!

— Да что он натворил, отец?! Что вы кипите? Рассказывайте толком! — перебила его мама.

— Абдумалик избил Турсунбая. А тот, бросив отару, пешком — ты слышишь? пешком! — добрался сюда из Мохидары.

— Ой, горе мне! За что он его избил?

— Почему я знаю! От одного толкового слова не добьешься, другой чем больше учится, тем меньше на человека смахивает. Размахался кулаками, хозяин-бай! Ничего не скажешь, я восхищен таким чабаном!

Отец, багровый от возмущения, надел длинный меховой тулуп, никак не попадая в левый рукав. Я подскочил, помог ему.

— Придется кому-то из нас идти на подмогу Абдумалику, — в сердцах сказал мне отец. — Пока не найдут подпaska для замены.

— Если вы поговорите с Турсунбаем построже, он вернется в Мохидару, отец, — вмешалась в разговор мама.

— А, оставь! — раздраженно отмахнулся отец. — Не говори мне об этом дикаре, смотреть на него противно! Он и поздороваться толком не умеет.

— Молод еще, отец. Подрастет, поумнеет.

— Брось заступаться за него! Говорят, один в десять лет — глава семейства, а другой и в тридцать — сопляк. Наши еще не скоро людьми станут.

Мать промолчала, чувствуя, что лишнее слово вызовет новый взрыв отцовского возмущения, подошла и молча стала помогать отцу обуваться.

Он открыл дверь, собираясь выйти, и в приоткрытый проем видна была грузовая машина, ожидающая отца.

— Поговори со своим директором, чтоб отпустил тебя, — сказал он мне, придерживая дверь. — В такой

тяжелой ситуации он отказать не должен. Если упрется — сам с ним поговорю... — вышел и захлопнул дверь.

Его слова взбудоражили меня. Я всегда жил в предвкушении по-настоящему важных, огромных дел, для которых понадобится все мое мужество, вся решительность. Я уверен, что люди должны восхищаться тем, что ты делаешь, а иначе — в чем смысл существования?

И вот теперь мне предстояло трудное и важное дело — там, в снежных предгорьях, в легендарной Мохидаре. В волнении я заходил по комнате, от стенки к стенке, хотелось бежать куда-то, немедленно что-то делать. Я просто задыхался от бездействия.

...Тут мне придется отвлечься и рассказать все начистоту. Собственно, ради этого я и взялся за перо. Ведь жизненные обстоятельства подчас заставляют нас делать то, чего мы не хотим делать, и даже лгать. А чистый лист тетради, раскрытой перед тобой одним, так и взывает к правде, пусть даже и неприятной.

Итак, я не прошел по конкурсу на исторический факультет пединститута. Но я обрел Сабо, которая осветила мою душу, как освещает яркий источник света спящий дом. А Сабо — это... это.... Когда Сабо смеется, вы не найдете вокруг лица, которое не расцвело бы улыбкой в ответ на ее заразительный смех. А голос у нее негромкий и нежный, как проникновенная мелодия.

Весь этот месяц, на консультациях, мне хотелось каждое мгновение быть рядом с ней, говорить с ней, смотреть на нее. Но как только я оказывался рядом с Сабо и видел лукавые ямочки на ее щеках, колени мои начинали дрожать, а мысли путаться. Я стоял и молча смотрел на нее — дурак дураком. Наверное, я не добрал баллов из-за того, что на экзаменах смотрел только на Сабо, а ночами не спал, сотни раз повторяя про себя ее слова, сказанные мне днем. Как-то во время экзамена, когда под столом я передавал ей шаргалку, наши руки соприкоснулись, и в эту минуту я понял, что готов на все ради того, чтобы всю жизнь держать в своей руке ее маленькую нежную руку.

Когда выяснилось, что на дневное я не добрал баллов, мне в приемной комиссии посоветовали поступать на заочное. Пока пришлось вернуться домой. А у нас, в совхозе, каждый человек на виду, все знали, что я поступать уехал. От вопросов односельчан было некуда скрыться, ну, я и соврал, впервые в жизни: мол, поступил на заочное, весной поеду на сессию. Противно,

конечно, но это было единственным спасением от досужих языков. Впрочем, думаю, кое-кто догадывался об истинных результатах моей поездки.

— Подумать только, это сын бригадира Эшбая Джаббарова! — сокрушался дядя Мусурманкул, с которым мы принимали хлопок на хирмане. — Если б твой отец расщедрился для сына хотя бы на половину премиальных за сезон, то тебе не пришлось бы сейчас топтаться здесь, в пыли.

Меня эти сочувствующие слова хлестнули больнее плетки.

— С каких это пор честный труд считается унижительным? — спросил я хмуρο.

Дядя Мусурманкул махнул рукой, словно не желая меня слушать:

— Оставь эти громкие слова! Начитался книжек. Месяц околачивался в городе, теперь приехал сюда учить людей правильным взглядам на жизнь.

Была пора уборки урожая. От каждой семьи на хлопковое поле должен выйти один человек. Само собой разумеется, что в нашей семье этот жребий выпал на меня.

Холодно на поле ноябрьским утром, от ночной росы хлопок мокнет, разбухает, трудно достать его из коробочки. Мы бредем по грядкам, ежась от холода, стараюсь удержать в запахнутом чапане остатки тепла, и перебрасываемся шутками. Из потрескавшихся от холода пальцев сочится сукровица, и чувствуешь острую боль, едва дотронешься до края колкой твердой коробочки. И только к полудню, когда пригревает слабое ноябрьское солнце и просыхает ночная роса на кустах, работа у хлопкоробов начинает спориться.

Возвратившись домой после хлопкоуборочной страды, я услышал от учителя Мамарасула, что нашей восьмилетней школе добавили в штат новую единицу — должность пионервожатого. Мне всегда нравилось возиться с младшими, соседская ребятня со своими маленькими и большими заботами и бедами всегда бежала ко мне — кого рассудить и помирить после драки, кому помочь сделать змея, кого научить свистеть в два пальца; словом, я посоветовался с отцом и, получив его «добро», пошел к директору школы.

До сих пор не могу прийти в себя от этого разговора. Как вспомню его, так кажется, прикоснулся к чему-то липкому.

— Понимаешь, в чем тут дело, дружок, — пробормотал директор, не глядя на меня, перекладывая как-то бумаги на своем столе... — Хочу, чтобы ты правильно меня понял и, по возможности, оставил этот разговор между нами. Я не против того, чтобы ты работал у нас, ты парень хороший, но... Чтобы выбить эту штатную единицу, старший инспектор района ездил хлопотать в областной центр и с огромным трудом... Ну, ты понимаешь, о чем я хочу сказать?

— Не очень. — Я, растерянно улыбаясь, глядел на директора и действительно не очень понимал, что мне хотят втолковать.

— Ну, ты же умный парень. Я хочу сказать, что надо отблагодарить человека, который добился для тебя такой должности.

— Для меня? — переспросил я.

— Ну конечно! — удивился директор. — Ты ведь претендуешь на место пионервожатого?.. Так что первые две зарплаты придется отдать старшему инспектору. Все-таки бегал человек, хлопотал...

Я кивнул, отводя взгляд от холеных рук директора, суетливо перебиравших на столе бумаги. Я даже не сразу отдал себе отчет, что это открытое взяточничество.

Позже, уже приступив к работе, я не раз обрушился на директора с обличительными речами.

— С какой стати выполнение своих обязанностей считается чем-то особенным? — восклицал я. — С такими людьми необходимо бороться. Они наносят вред нашему обществу! — тут, как правило, я обнаруживал, что обращаю свое красноречие к самому себе, и меня охватывал яростный стыд. Единственным оправданием и отрадой для меня было то, что новая моя работа спорилась, дети привязывались ко мне все больше, да и я их всех уже знал и любил.

И вот в это-то время, когда дела в школе налаживались, нужно было бросать все и идти на помощь Абдумалику. В этом году старики обещали снежную зиму, а тогда в Мохидару никакой транспорт, кроме трактора, не пройдет.

Директор школы отпустил меня нехотя, не скрывая своего явного неудовольствия.

— Если б не авторитет твоего отца... — он не договорил и отвернулся, показывая, что на этом разговор окончен.

...Мы с отцом уже пообедали и собирались в дорогу, когда вошел хмурый и подавленный Турсунбай. Отец снял очки, протер их полой чапана и, водрузив на нос, пристально взгляделся в задубевшее от мороза лицо Турсунбая. На несколько минут воцарилась напряженная тишина.

— Почему ты бросил отару?—наконец спросил отец.

— Вы же знаете, Абдумалик меня избил, — не поднимая глаз, ответил тот, шмыгая носом, как обиженный ребенок.

— И что же ты натворил?

— Не я. Волк задрал трех овец.

— Поделом бит.

— Но ведь волки напали и тогда, когда он сам выводил отару! — запальчиво возразил Турсунбай.

— Ну, так выгоните всю отару в горы, только чтоб свалить на другого вину, а мы посмотрим — что из этого выйдет! — в сердцах воскликнул отец. — Вы как гром в июле — без скандала в кишлаке не появляетесь. Старший не умеет быть старшим, а младший не приучен быть младшим. В народе говорят — отбившегося медведь съедает, так-то, племянник. Был бы ты моим сыном, я б тебе голову оторвал.

— Но пусть и Абдумалик не дерется, отец! — как обычно, вмешалась мама. — Негоже избивать парня, которому жениться пора. Нет, как хотите, я считаю, всему виной старший.

— Оба хороши! — прикрикнул отец. — Что ты их защищаешь? Если сильно жалеешь их, то иди, паси овец! Вместо них!

Маме пришлось замолчать. Турсунбай сидел, понурив голову, не отрывая глаз от пола. Мне даже не по себе стало от жалости к нему.

— Отец, если Турсунбай виноват, пусть повинится перед братом. Давайте возьмем его с собой, помирим их.

— Что ты посредничаешь? У него самого есть язык. Во всяком случае, глупости с этого языка слетают в большом количестве, — бросил отец недовольно. Он никак не мог успокоиться. — Бессовестные! Бедная мать надорвалась, пока вас на ноги поставила, а у вас в сердце ни вины, ни благодарности!

После его слов надолго наступила тишина. Мама налила Турсунбаю кульчатая* в касу, и он, ни на кого

* Кульчатая — мясной бульон с кусочками крупной лапши.

не глядя, низко пригнувшись, громко хлебал бульон. Отец, нацепив очки, просматривал газету.

— Сходи к тете, проведай ее, — сказал отец, бросив на меня взгляд поверх очков. — Наверное, переживает из-за шалопаев. — Потом строго посмотрел на Турсунбая: — И ты иди, попроси коня у сторожа Рахмата. Если сегодня же мы не поедем, можем отары лишиться.

Мы с Турсунбаем молча поднялись, оделись и вышли. Темнело. Вороны на снегу — жирные, крикливые, скандальным криком тревожили снежную тишину. Некоторое время мы шли молча. Вдруг Турсунбай всхлинул и проговорил надрывно:

— Не веришь — можешь посмотреть на мою спину, на плечи — все в синяках от посоха! И я же оказался виноват, а этот Абдумалик опять хороший.

— Брось, никто его не защищает.

— Да твой отец и не скажет ему ничего! — чуть не плача, выкрикнул Турсунбай. — Как же — он старший чабан, круглый год пасет бесплатно ваших четырнадцать овец! Вот и получается, что виноват стрелочник!

— Наверное, ты препирался с братом, грубил ему. Ведь без причины человек не станет бить другого человека? — спросил я.

— А он долго не разговаривает. Как что не по нему — кулаками орудует. Два года уже пасу с ним овец — ни копейки не получил. Ничего, кроме побоев. — Он помолчал и добавил: — Ну и дурак же я, что не пошел учиться после восьмого класса.

Я засмеялся, подтолкнул его плечом:

— Вот это ты толково заговорил. И сейчас не поздно учиться...

— На худой конец стал бы, как ты, пионервожатым, — ехидно продолжал он, искоса взглянув на меня.

Вот человек! Обязательно должен ляпнуть что-нибудь, задевающее самолюбие. Я разозлился, но не подал виду, только сказал небрежно:

— Извини, дружище, но пионеры — не стадо овец. Для того, чтобы увлечь столько детей, надо кое-что в голове иметь.

— Куда нашей бедной голове до ваших высококачественных мозгов!

— Ты не обижайся, Турсунбай, — сказал я, — нельзя жить, делая все кое-как. Человек рожден для того, чтобы любое дело, за которое он берется, делать от души. Ты думаешь — это просто? Нет, надо еще

научиться такому отношению к труду. Надо заставлять себя, надо уметь бороться с самим собой. А ты, за какое бы дело ни принялся, работаешь спустя рукава. Поэтому от брата получаешь зуботычины, а от дяди — ругань.

Я замолчал, потому что Турсунбай соорудил благоговейную физиономию примерного ученика, внимавшего словам учителя.

— Что, лекция уже кончена? — спросил он. — Почему так коротко? Я еще не стал хорошим мальчиком. Ты-то сам, пайныка, кем готовишься стать? Учителем — в единственном костюме и лоснящемся от старости галстуке?

Я остановился и, сдерживая себя, сказал:

— Не смей говорить так об учителях. Тебя грамоте обучили эти люди в старых костюмах. На свете нет благородней профессии.

— Вот это правильно, — усмехнулся он. — Профессия благородная, потому что детей не купишь и не продашь. Ну, ладно, не злись, учитель. Пойдем, что ты встал, как столб?

Дальше мы шли молча. Но уже минуты через три Турсунбай нарушил молчание.

— И все-таки интересно, кем ты собираешься стать? Не секрет?

— Не секрет. Я во что бы то ни стало поступлю на исторический факультет института. Собственно говоря, я собираюсь стать археологом, а для этого надо хорошо знать историю. Все археологические экспедиции всегда возглавляли историки. Когда-нибудь и я приеду сюда с экспедицией, буду производить раскопки холмов. Я уверен, что и Дунетепе, и Кургантепе и Михтепе хранят тайны древности...

Я вырву из их утроб эти тайны!.. Это моя мечта — раскрыть все тайны прошлого наших мест. И я знаю, что она сбудется, и готов ради этого на все.

— Да, башка у тебя варит неплохо. Лучше бы ты, при твоей голове, стал директором нашего совхоза. Представляешь, как бы я запросто захаживал в твой кабинет, этак пнув ногою дверь?

— Ну, если б я стал директором, то я бы не позволил тебе открывать дверь ногами.

— Знаю, знаю. Ты бы меня к своей двери и близко не подпустил.

Я усмехнулся:

— А ты там, в горах, стал философом. В жизни разбираешься, знаешь, что к чему. Вот только серьезно работать не научился.

— А ты уже научился? — презрительно спросил он. — Ну так вот, потрудись, попаси овец одну зиму. Славная работенка... Заодно, можно и археологией заняться, в Мохидаре много холмов, старых захоронений... Может, клад откопаешь, ученый?

— А я, между прочим, с радостью еду в Мохидару. Разомнусь на природе, подышу свежим воздухом...

— Вот-вот, — подхватил он злорадно, — отморозишь нос да уши, тогда и пой хвалу труду чабана. Только смотри, не сбеги с первым же трактором.

— Увидим. Цыплят по осени считают.

— Там тебе придется считать павших от мороза овец. А можешь, как и я, по мордасам схлопотать, товарищ пионервожатый. Это тебе не «Будь готов! Всегда готов!» Овцы лозунгов не понимают. Может, пока не поздно, раздумаешь ехать? — он прищурился в едкой усмешке. Ясно было, что Турсунбай нарочно «заводил» меня.

— Не дразни меня, Турсунбай. Не то схлопочешь «добавку к обеду», — и, не удержавшись, я рассмеялся. — Собственно говоря, Абдумалику следует премию дать за то, что он работает с такой занозой, как ты. Мало он тебя лупил!

На это Турсунбай разозлился всерьез. Он пнул ногой камешек, подвернувшийся на дороге, и выпалил:

— Ну, если его дядя твой папаша, то что ждать от племянника?

— А ты-то чей племянник?

— А я знать никого не желаю! Дядя не отец! — он осекся, видимо, вспомнив своего отца. И я вспомнил в эту минуту слова бабушки об отце Турсунбая:

«Дяденька твой, Ходжаберды, с детства был нечестивцем. Его мать, бабушка Бувайда, в голодный год объелась тутовых ягод и умерла прямо под шелковицей. Ходжаберды в то время был уже взрослым парнем, но вышло так, что тело матери похоронили чужие люди, соседи. И я тогда говорила — не будет добра никому от такого человека. А муж твоей тети, отец Абдумалика — замечательный парень — погиб в горах от селя. Очень она горевала, бедная... Ну, и посватался к ней Ходжаберды, она и пошла. Родила от него Турсунбая, думала, заживет по-человечески. Но разве сло-

жится жизнь с грубияном и охальником, который родную мать не почитал?

Ушла от Ходжаберды твоя тетя, с двумя детьми ушла, и уж после нее никто за него замуж не пошел. И верно в народе говорят: зло, причиненное людям, бог возвращает обидчику сторицей. Турсунбай к отцу не навевывался, хотя характером в него пошел — тоже грубиян. Ходжаберды в одиночестве умер. Так оно и выходит — что посеешь, то и пожнешь...»

Турсунбай, видимо, догадался, о чем я думаю. В хмуrom молчании мы подошли к его дому. Увидев меня, тетя расстроилась, всплакнула, стала жаловаться:

— Измучилась я, Нурулла. Как тут не благодарить бога, что у меня всего двое детей, а не десять, как у многих... — Она высморкалась, вытерла слезы. — Перед людьми стыдно!

— Сама таких воспитала! — оборвал Турсунбай мать. — Нечего жаловаться. Теперь похвали своего старшего — кормильца, и мы услышим полный набор твоих причитаний!

— Ты видишь, Нурулла. Никакими словами его не проймешь. Силу, здоровье, молодость — все им отдала, и вот что слышу в награду... Бедный Абдумалик, собирался женить его, как отец. Он ведь вместо отца...

— Не вмешивай отца! — выкрикнул со злостью Турсунбай. — Он из могилы тебя за подол не тянет!

— Замолчи, Турсунбай! — крикнул я, сжимая кулаки. — Замолчи, а то!..

Он вздрогнул от моего крика. Несколько секунд глядел мне в глаза, потом отвел взгляд и молча вышел, топя сапогами — направился к сторожу Рахмату, просить лошадь для поездки в Мохидару...

III

Студеный вечер опускался в глубокое, укрытое снегом ущелье. Необъятная морозная белизна внушала человеку страх перед природой. Горным ручьям, разворившимся в вечерней тьме, было тесно в руслах, грозно гремели они по камням, временами заглушая протяжный и саднящий душу вой волков.

— Волки воют — к долгой зиме, — озабоченно проговорил отец, левой рукой в перчатке поглаживая усы, припорошенные снегом. — По преданиям стариков, та-

кие суровые зимы случаются каждые двенадцать лет или двадцать четыре года.

Взмыленные, несмотря на мороз и вьюгу, лошади шли по грудь в снегу, пришлось даже укоротить стрелена.

— Хоть бы все обошлось в нынешнюю зиму, — продолжал отец, как бы размышляя наедине с собой. — У нашего-то совхоза званье высокое, да скатерть пустая. На собраниях все хорошо, а на деле — развал... Скотные дворы, допустим, как-то выдержат эту зиму, они от кишлака недалеко, но вот овчарни... Ни одной крепкой овчарни не осталось. Кто поверит, что «золотая овца», которой в самой Москве восхищались, выведена у нас? А все почему? О себе думаем, о своем благополучии. Во время войны, бывало, человека, опоздавшего на работу, судили. Это, конечно, суровая мера, но неужели необходима война, беда, чтобы призвать людей к труду и порядку?

Мы помалкивали, не решаясь вставить слово в рассуждения отца. Мохидара вставала перед нами в громадном снежном величии. Сильный гнедой конь сторожа Рахмата, на котором мы с Турсунбаем сидели вдвоем, шел споро, пофыркивая, разбрызгивая пену с морды. Изголодавшись, он выщипывал из-под снега полынь и жевал ее вместе с удилами. Олакашка, на которой ехал отец, шла как бы дремля, устав от утомительной белизны снегов.

Турсунбай вертелся сзади меня. Ему, наверное, очень хотелось поговорить, но он побаивался отца.

— Вожатый, ты что, ослабленный? Погоняй коня живее! — шепотом задирали он меня, то и дело тыча кулаком в мои бока. — Похоже, что ты и на осле не умеешь ездить...

Но, несмотря на его подшучивание, чувствовалось, что на душе у Турсунбая тревожно. Абдумалик — парень с характером, мог и при нас прогнать брата.

Черными контурами в ущелье наметилась овчарня, вся вокруг заваленная снегом. Вскоре послышался отрывистый лай сторожевых псов.

— Ну, добрались, наконец-то. — Отец, тяжело вздохнув, огляделся. — Теперь этот снег пролежит до самых майских праздников.

Собаки, выбежавшие из овчарни нам навстречу, застряли в снегу и хрипло лаяли.

— Куктай, прекрати! — прикрикнул Турсунбай.

Узнав голос, собаки замолчали, виляя хвостами и поджидая всадников, чтобы вернуться в овчарню. Пар, вылетающий из собачьей пасти, быстро таял в вечернем морозном воздухе, а стекающая слюна замерзала на шерсти сосульками. Кони, обеспокоенные лаем собак, озирались, наставив уши, а гнедой сторожа Рахмата — он привык гнать расхитителей сена — тот злобно фыркал на собак, низко опустив голову. Олакашка коротко проржала низким голосом.

Бабушка говорит, еще с давних времен, едва на земле возникла разумная жизнь, лошадь и собака соревновались между собою в преданности человеку. И по сей день, завидев собаку, лошадь настораживается. Собаки же, завидев лошадь, оглушительно лают. Эти преданные животные ревнуют человека друг к другу.

Тут почему-то я вспомнил дедушку Девана-бобо, того, что долгие годы жил на мельнице в полном одиночестве. «Собака — друг, а женщина — мучительница, — говорил старик. Он считал за великий грех разговор с женщиной. — Нет на свете ни одной женщины, которая умела бы хранить и тайну и была бы преданным другом. Только попадет в твои объятия — все твои тайны по соседям разнесет...» О чудачествах старика знали все, и женщины на мельницу с зерном не приходили. А когда к роднику за кизяком прибегали девушки, Девана-бобо скрывался на мельнице, и хохотушки поднимали визг и хохот, нарочно дразня бедного старика.

...Из дома, плоская крыша которого тяжело держала толстый слой снега, вышел Абдумалик и остановился, поджидая нас. Его фигура с посохом напоминала позу скорбящего человека. Он стоял, опираясь подбородком на сцепленные руки, держащие посох, — обросший бородой, в шапке с опущенными ушами, — и глядел на нас бесконечно усталыми глазами. Видно, у него не было времени не то что поспать, но даже отряхнуть шапку от застрявших в ней соломинок.

Я сразу вспомнил почему-то, что Абдумалик всегда был защитником для нас, малышей, и бесстрашно бросался в драку со старшими, если те обижали нас. Я проникся сочувствием и жалостью к нему и испытал сильнейшую неприязнь к Турсунбаю, сидевшему за моей спиной. Ни при каких обстоятельствах тот не должен был бросать Абдумалика одного в ущелье, среди этих бесконечных снегов. Когда мы подъехали

вплотную к Абдумалику и я взглянул в его усталое лицо и заметил, что на глаза его навернулись непрошеные слезы, я понял, что останусь с ним до конца; в почерневшее лицо вьелась гарь, смешанная с потом, и это еще больше выделяло горящие, ввалившиеся глаза. Похоже, он не умывался несколько дней, ведь в такую вьюгу сходить к ручью — одно мученье. Наверное, пил чай из талого снега, скорее всего, сидел на хлебе и воде.

Мы с Турсунбаем пошли привязать коней у плетня, огораживающего стожок сена, которого едва бы хватило на одну кормежку. Отец с Абдумаликом направились к овчарне.

Положение в отаре было тяжелым. Из-за непрерывного снегопада овец нельзя было выгнать из овчарни. В открытом загоне овцам было тесно, сильные затаптывали слабых, из-за сырости бедные животные с обледенелой коркой шерсти на спине напоминали обмытых после стрижки. С голодухи они жевали все, что попадалось.

— Турсунбай, ты предатель! — в сердцах сказал я, привязывая коня к плетню. — Даже если Абдумалик прибил бы тебя, ты не должен был бросать его.

— Заткнись! — огрызнулся он. — Ты еще меня не поучал! — Видно было, что его расстроила холодная встреча с братом. — Что изменилось бы, если б я остался? — выкрикнул он. — Нашли козла отпущения! Все равно сена нет! И овцы все равно будутдохнуть! Увидишь, что станет, когда кончится этот клок сена.

— Кто мог подумать, что грянет такая зима. А овцы, как и люди, в холодное время едят больше, чем обычно. Зимой скотина жует беспрестанно. Согревается...

— Если не подвезут сена, все полетит к чертям! — продолжал раздраженно Турсунбай. — И старшего чабана Абдумалика Мирзаева, который дубасит всех без разбору, мы увидим за решеткой. Да еще ему приплюсуют избиевание невинного человека, так что всю десяточку он получит. Будет сосны валить в Сибири, энтузиаст.

— Что ты болтаешь, дурень, тебе не стыдно?

— А ты не учи меня, я тебе не пионер! Прочитал пять книжек и думает, что он умнее всех. Посмотрим, как ты с отарой справишься, овцы ведь не пионеры, им галстуки не напялишь. — Он рассмеялся, доволь-

ный своей шуткой, и долго хохотал, похлопывая себя ладонями по коленям. Так заразительно смеялся, что и мне смешно стало.

— Ты знаешь — кто? — спросил я. — Ты самый настоящий отрицательный герой.

— Это у какого писателя? У Абдуллы Каххара? — и он еще громче захохотал. На этом вроде помирились.

Привязав лошадей, мы пошли к овчарне. Казалось, весь мир был завален снегом. Двухметровые ели укрылись им по самые макушки. Ослепительная, мертвенная белизна зимы...

Такие глубокие снега я видел только раз, в детстве, именно в этих сказочных местах Ойкора. В то зимнее утро отец поднялся, как всегда, спозаранку — встал посмотреть за скотиной. И мы, дети, просыпались, сонно толкая друг друга коленками и локтями.

Комната до потолка была залита белым, крахмальным светом от инея, густо покрывавшего наши окна. Но то оказался не иней, а снег. Ни звука не доносилось снаружи, лишь лай Алпара звучал приглушенно, словно издалека.

— Неужели за ночь могло выпасть столько снега? — отец поспешно одевался. Загон под навесом, в который с вечера были запущены овцы, должно быть, весь завалило снегом.

Отец навалился на дверь плечом, с трудом открыл ее и вышел. Яркая белизна хлестнула по глазам — снегу навалило по пояс человеку. Мы мигом оделись и выбежали наружу — снег, какой глубокий пушистый снег! Взрослым — хлопоты, нам — радость.

...Воспоминание о том давнем дне звонким эхом тронуло мою душу и, как почти всегда бывает со мной в минуты волнения, тотчас возник нежный образ Сабо, и я вновь и вновь стал твердить те слова, что хотел сказать ей: «Сабо! Я счастлив только тем, что ты есть на свете! Я преодолеваю дни только потому, что живу надеждой скоро увидеть тебя! Сабо! Как хотел бы я рассказать тебе все, что тревожит и волнует меня! Я привезу тебе красоту и величие моего края, моих гор — звонкие песни ручьев и яркие полотнища зеленых пастбищ!»

Отец приказал выдать овцам немного сена.

— Разделите оставшееся пополам, — велел Абдумалик, взбираясь на крышу овчарни. — Другая на завтра останется...

Они с отцом отгребали снег ногами и внимательно осматривали крышу овчарни.

Мокрое сено замерзло и торчало колом. Турсунбай, чертыхаясь шепотом, выковыривал серпом клоки сена и подталкивал его ногами в кучу. Овцы, уже почуяв, что их собираются кормить, сгрудились, толкаясь, возле плетня и возбужденно блеяли.

— Давай я стану выбирать сено, а ты раздавай им, — предложил я Турсунбаю.

Он возразил:

— Одному надо возле дверей стоять, а то они нас затопчут. Смотри, с голодухи уже деревянную стену грызут.

И вправду, две овцематки грызли опутанный проволокой кусок дерева. Спиною подпирая дверь, я сдерживал натиск овец. Они яростно стремились к сену, просовывая в дверь морды, стараясь пролезть вперед. В тот день я впервые заметил сходство между глазами человека и овцы. Невозможно было без сострадания смотреть в глаза этих голодных, измученных холодом животных.

Турсунбай ловко хватал клоки сена и раздавал овцам. Лицо его блестело от пота. Как ни раздражал он меня, но сейчас его было жалко, мне даже захотелось сделать для него что-то хорошее. Такой уж с детства у него характер тяжелый: он, бывало, и овцу свою пасет отдельно, и обедает один, в сторонке. Думаю, в характере его виноваты родители, их сложные взаимоотношения.

К ночи мороз окреп. Ташакур, северо-восточный ветер, наметал гигантские сугробы, швырял снег в открытый загон возле овчарни, и снег, утопанный сотнями овечьих ног, превращался в толстый слой льда. Казалось — еще несколько сильных порывов ветра, и овчарня развалится. Сквозь прогнившую крышу, подпираемую трухлявыми столбами, сочилась вода.

Прислонясь плечом к опоре, Абдумалик в глубокой задумчивости слушал отца, который ходил вокруг и возбужденно говорил:

— Ни в одной отаре нет подпаска, работающего по штату. А все почему? Нет определенного заработка. Иные чабаны нанимают подпасков за триста-четыреста рублей. Откуда они берут эти деньги? Прodelывают махинации с шерстью, приплодом, выдают жирную сохзную овцу за тощую и таким образом рассчитывают-

ся с подпаском. А куда тут деваться, когда главное — сохранить поголовье скота.

— Но ведь есть и такие чабаны, которые сдают государству своих ягнят, лишь бы выполнить обязательства, — возразил Абдумалик.

— Да, есть. Так это — липовый патриотизм, скажу я тебе. Такой сдаст своего ягненка, чтобы его на собрании наградами и премиальными не обошли. И его наградят, будь спокоен. А с тебя строго спросят!

Абдумалик молчал, погруженный в тягостные размышления, а отец продолжал возмущаться:

— Сено собираются везти из соседнего района! Хотя в районной газете черным по белому писалось, что совхоз перевыполнил план по заготовке сена!

— Если сегодня-завтра не привезут сена — плохи наши дела, — мрачно вставил Абдумалик.

Отец остановился напротив него, положил руку на плечо:

— Как только вернусь, немедленно пойду к директору, к парторгу — обрисую положение.

— Лишь бы сено подвезли, остальное — не важно...

Отец долго еще ходил, осматривая овчарню, сурово качая головой. Потом сказал:

— Вот что: лед надо сколоть, загон просушить, иначе у овцематок начнутся выкидыши. Завтра заставь ребят смести с крыши снег, натаскать сверху слой мелкого хворосту и земли и утрамбовать хорошенько ногами. Все это прихватит морозом и крыша не будет течь...

На другой день утром отец уехал, ведя на поводу гнедого дяди Рахмата. Мы остались втроем, с голодной отарой, в глубоких снегах. Мы знали, что стоит немного расслабиться — и отара погибнет. Здесь, в Мохидаре, стойкость и выносливость были необходимы, как на фронте. Даже Турсунбай помалкивал, безропотно выполняя все приказания брата.

Оставшегося сена не хватило и на два дня. Хотелось укрыться куда-то от беспрестанного бляенья голодных овец. А снег все валил и валил без устали, нагромождая снежные барханы.

На третий день, к полудню, мы прорыли в снегу дорогу к роднику. Вокруг русла намело снегу высотой с человеческий рост. Эти огромные белые пространства угнетающе действовали на психику, а от бляенья овец,

удесятеренного эхом, хотелось выть по-волчьи, хотелось заткнуть уши, упасть в снег, зарыться и ничего не видеть и не слышать. Но нас было трое, с отарой, в глубоких снегах Мохидары, всего трое. Всего трое...

После обеда, выгнав половину отары в открытый загон, мы с Абдумаликом принялись чистить овчарню. Я сгребал навоз и слякоть с земли, Абдумалик перебрасывал лопатой через ограду. Мы молчали. Говорить было не о чем, мы только напряженно прислушивались — не раздастся ли в гнетущем белом безмолвии рокот приближающегося трактора. Абдумалик с каждым днем становился мрачнее. Видя это, Турсунбай молча и рьяно работал — колол дрова, отгребал лопатой снег, готовил пищу; бранился шепотом, чтобы не услышал брат. Со дня приезда он еще не умывался, и то сказать — когда дрожишь от холода и на душе неладно, не очень-то думаешь о собственной физиономии...

Спали мы в единственной комнате дома — сырой и темной, на полу, устланном соломой. Балки потолка, черные от копоти, давно потеряли свой первоначальный цвет. В железной «буржуйке», чадя, горел кизяк, окунутый в солярку. В казане на печке обычно варилась нежирная баранина. Я уже привык к этому убогому быту, мне казалось, что я живу здесь давно.

Всего два раза из родника удалось притащить воду, — снежные метели вмиг завалили узкий проход к нему. Напились сами, напоили овец. Истощенные голодом овцематки жадно пили теплую ключевую воду. На завтра придется заново прорывать тропу к роднику.

— Надо предпринимать что-то, иначе пропадет скот, — устало сказал Абдумалик утром, не сводя с дороги измученного взгляда. — Но ведь тракторы уже свободны от вспашки! Неужели трудно прицепить прицеп и отправить сюда кузов сена! Вот увидишь, когда погибнет половина отары, они тут же дадут транспорт для перевозки трупов.

Я молчал, прекрасно понимая его настроение. Что мы могли? От зари до зари по колено в грязи мы чистили овчарню, задыхаясь от кислородного запаха навоза, не чувствуя одеревеневших от холода и влаги ног в кирзовых сапогах. Руки были черны от грязи и пота. Стекая со лба, пот едко щипал глаза: голодные овцы, уже сутки не евшие ничего, кроме снега, тянули нас за полы одежды. Турсунбай говорил, что челове-

ческое существо не в состоянии выдержать такое. Он вполголоса матерился и всячески поносил руководство совхоза.

IV

Сено не привезли и на четвертый день. От пронзительных голосов блеющих овец можно было оглохнуть. Абдумалик вынес из дома охапку рисовой соломы, которая была подстелена под домотканый палас, и через несколько секунд от соломы не осталось стебелька. В свалке были затоптаны два барашка. Настроение у нас испортилось вконец.

— Здесь не у овец, здесь у нас будут выкидыши, — пробурчал Турсунбай, поднял лопату и, волоча ее за собой, направился к овчарне. Там, ругаясь, он шлепал по мордам овец, лижущих снег.

— Э-э-эй! Сю-да-а-а! Идите сюда-а-а! — вдруг заорал он.

Мы с Абдумаликом выскочили из дома, ожидая увидеть трактор, волокущий прицеп с сеном. Турсунбай, с испуганной физиономией глядел на овец, не переставая вопить:

— Сюда-а, гляньте: они едят шерсть друг у друга!

Овцы, как бы почесывая мордами друг друга, жевали шерсть.

— Бей их по мордам! — закричал Абдумалик.

Турсунбай не замедлил выполнить это приказание.

— Плохи дела, — сказал Абдумалик с обреченным видом. — Овца, объевшаяся шерсти, погибает.

Животные неприкаянно бродили вокруг овчарни, хрипло блеяли, взрыхляли копытами снег. Наскоро пообедав, мы вернулись в овчарню и увидели, что несколько овцематов, выстроившись вдоль стены, что-то жевали. Почувяв неладное, мы подбежали, и от удивления я замер: овцы лизали стены овчарни, как лижут соль. На морды налипала глина. Одна овца уже лежала на земле и сучила ногами в предсмертной агонии — в горле у нее застрял кусок глины. Абдумалик не вынес зрелища ее мучений, схватил нож и прирезал бедное животное. Я закрыл глаза и отвернулся. Турсунбай с криком и руганью бил овец по мордам и гнал от стены, но те снова и снова упрямо бросались к ней.

Абдумалик стоял, уронив голову, оцепенело глядя

на лужицу глинистой слюны, вытекающей из перерезанного горла овцы.

— Сними шкуру, — глухо велел он Турсунбаю и вытер рукой пот со лба. На лице остались пятна крови — в спешке Абдумалик поранил себе руку.

Медленно он вышел из овчарни, опустил руку в снег, чтобы остановилась кровь, потом вернулся и тяжело опустился на выступ опоры.

— Что делать будем, Нурулла? — мрачно спросил он.

— Может, сегодня все-таки подвезут сено, — ответил я в растерянности.

— Что-то не похоже... Еще несколько дней — и овцы нас сожрут. — Он помолчал, оглядывая овец тяжелым взглядом из-под воспаленных век, и заговорил опять в отчаянии. — Не понимаю... Ведь дядя Эшбай все видел, ведь он должен был сказать!

— Он наверняка передал, только ты же знаешь Нарзиева... — предположил я.

— Все может быть... Директор новый, не осмотрелся еще. А Нарзиев только тем и занят, что ловит рыбку в мутной воде...

Неожиданно он вспомнил эпизод, произошедший летом...

Группа чабанов и бригадиров выехала на собрание, где должны были вручать нашему району переходящее Красное знамя. К правлению подогнали грузовик, в кабину сел Нарзиев, остальные, перебрасываясь шутками, разместились в кузове. Ехали весело и собранием остались довольны — участников наградили отрезами атласа и ситца, чайными сервизами. После собрания сидели в чайхане, что в центре скверика, ели плов, запивали зеленым чаем.

— Товарищ парторг, дело к вам, — обратился к Нарзиеву известный чабан Садык-бобо Мамарахимов. В годы войны он был председателем колхоза, поэтому все звали его по старой памяти «раис-бобо» — «дедушка-председатель». Садык-бобо снял ордена, будничным жестом опустил их в карман и продолжал: — В этом году, похоже, зима будет лютой — сизоворонки рано улетели. Надо бы вокруг овчарен запасы сделать, хотя бы верблюжьей колючки. В поле ее видимо-невидимо. Сенокосилки за день накосят столько, что на три района хватит. А мы бы сами убрали...

— Машина еле с сеном справляется, а вы вспомнили о верблюжьей колючке, да еще на каменистой почве! — тонкий голос Нарзиева звучал насмешливо.

Садык-бобо посерьезнел.

— Ну что ж, придется позвать на помощь наши семьи, — сказал он, — но верблюжьей колючкой запастись необходимо, иначе скот будет голодать. — Он взглянул на Нарзиева внимательно. — А с вами стало невозможно решать даже самые простые вопросы!

— А вы к директору обращайтесь, раис-бобо, мы люди маленькие, — Нарзиев пожал плечами и неприятно усмехнулся.

— Что? Маленькие? Кто вам это сказал? — голос раиса-бобо напрягся, и все невольно стали прислушиваться к разговору. — Мы вас в парторги избирали не как маленького, нам маленькие не нужны. А если впредь будете приbedняться, то ваш авторитет и вправду будет становиться все меньше и меньше. Вы думаете, это скромность? Нет, это бессилie и равнодушие, брат мой. А если вам тяжело заниматься таким важным делом, то у нас есть и молодежь — толковая, энергичная...

Садык-бобо слегка кивнул в сторону Абдумалика, который с видимым удовольствием ел плов, основательно с утра проголодавшись. Нарзиев тоже взглянул в его сторону, и краска медленно поползла по его одутловатому лицу. Заметив общее внимание, Абдумалик смутился, а Садык-бобо продолжал:

— Бог даст, в будущем августе сорок лет стукнет, как я в партию вступил. И до сих пор не слышал в свой адрес худого слова. И партия на меня вроде не в обиде. А вспоминаю, какие горячие, огневые парторги были у нас — случалось, невозможное делали возможным. И сами покоя не знали, и другим бездельничать не давали! Абдумалик! — он с серьезной ласковостью взглянул на парня. — Вот ты, как кандидат в партию, что думаешь по этому поводу? Все у нас в порядке?

Его теплый и сердечный тон подстегнул Абдумалика, и парень решил высказать то, о чем давно думал.

— Я полагаю, что следует с разбором рекомендовать людей в партию, — сказал он спокойно. — Например, когда нас принимали в кандидаты, один из чабанов не смог ответить ни на один вопрос членов бюро. Может, он не понимал сложных вопросов? Но под конец его спросили, сколько ягнят он получает с сотни

овцематок и сколько оставляет в рост, так он и на этот вопрос не ответил... Думаю, в партию все же надо рекомендовать грамотных, толковых людей. Времена другие.

— Грамотные начнут поучать всех подряд, как ты! — разозлился Нарзиев. Лицо его по цвету напоминало спелый помидор.

— Верно говорит Абдумалик! — нахмурился Садык-бобо. — Те, кто делали революцию, тоже были людьми образованными. Многие из них были голодные и раздетые, но знаний и понимания дела — хватало! Поэтому они и свергли царя. А теперь мы сыты, довольны, одеты и ни о чем не думаем, кроме своего блага. Ты, Низамиддин, вместо того, чтобы хватать за шиворот говорящего правду, лучше бы попытался в делах разобраться. А то вся твоя работа — это чайники с чаем директору таскать. Вот что я скажу тебе — человек прежде всего себя уважать должен, тогда он и других уважать научится...

Нарзиев нахохлился, но ни слова не сказал старику. А тот поднялся, нахмуренный, молча вымыл руки и пошел к машине: Садык-бобо приехал на собрание на своей новенькой белой «Волге».

— Идем со мной, — бросил он, проходя мимо Абдумалика.

Парень не знал, зачем его зовет Садык-бобо, но спрашивать не стал. Наспех допил чай и пошел следом за стариком. Нарзиев, вытирая платком вспотевшее багровое лицо, пристально смотрел вслед обоим. Затем поднялся и направился к грузовику, возле которого уже собирался народ.

— Заедем на базар, прихватим кое-что, — сказал Садык-бобо, неловко садясь за руль и включая зажигание. — Бабушка приготовила жареное мясо, надо отвезти в районную больницу. Там односельчане лежат, Шакир и Абдувахит.

Старик вел машину медленно, осторожно, как человек, недавно севший за руль. Он говорил, и голос его прерывался, а руки подрагивали от волнения.

— Не знаю, может, у меня мозги прокисли, как у той вороны в зной, и я, старый пень, ничего не понимаю, но кажется мне, пора уже ставить заслон всем этим восхвалениям и пустозвонству. На прошлой неделе статью обо мне в газете поместили. Поверишь ли, когда старший внук читал, мне дурно стало — чего

только не понаписали! Как это говорят теперь — сплошная «липа» и вода. Пустая, никому ненужная болтовня! Не упомяну, когда со мной встречался этот бойкий журналист. Ну скажи, кому нужны эти ничего не говорящие слова, унижающие человеческое достоинство! Ты умеешь водить! Садись за руль, веди эту железяку. Руки трясутся, как бы чего не натворить. — Старик оставил машину на обочине дороги, обернулся к Абдумалику и добавил: — Нет ничего лучше лошади. Чем ближе человек к железу, тем он и сам жестче становится...

— Если к вечеру не привезут сена, пойду пешком в кишлак, — глухо проговорил Абдумалик. — Дальше ждать бесполезно. Или привезу корм, или... натворю там что-нибудь! — он сжал кулак и стукнул им по колену.

— Себе хуже сделаешь! — возразил я. — Тогда плакала твоя партия — скандалиста не примут ни за что.

— Худо, Нурулла... Беда, что овцы глину лижут. От этого в желудке образуется твердый, как камень, ком. Это гибель. А овца — глупое, доверчивое животное, что на язык попадет, то и хватает. Так что, если и подвезут сено, считай, что урон уже понесен. Гибнут овцематки, значит, гибнут и ягнята, вот беда... — Он помолчал, размышляя о чем-то, потом поднял на меня глаза: — Слушай, Нурулла, а что если мы разберем плетень и оградим хворостинами стены овчарни? Пусть уж дерево грызут, это не так страшно.

До вечера разбирали плетень и заграждали стены овчарни.

Овцы, как дети, ходили за нами по пятам. Мы прогоняли их, но они возвращались и смотрели нам в глаза изможденным своим, человеческим взглядом.

В дом мы зашли уже затемно. Возле раскалившейся «буржуйки», сидя на овчине, спал Турсунбай, запрокинув голову, тяжело дыша. В казане варилось мясо той овцы, что прирезал Абдумалик утром. От долгого кипения шурпа побелела.

— Устал мальчуган... — проговорил Абдумалик, взглянув на брата и присаживаясь рядом. — Завари-ка чай, дружок, да покрепче, чтоб сон прогнало. А то ночью не сможем работать...

Проснувшийся от звуков наших голосов Турсунбай встрепенулся и, гремя посудой, принялся разливать шурпу в алюминиевые миски. Потрескивали в печке сухие арчовые ветки, воздух в комнате прогрелся, пахло сырым войлоком и кралином, который летом хранили здесь чабаны, и от этого кислого запаха муторно было на душе.

— Невозможно есть, — сказал Абдумалик, попробовав кусок мяса. — Овцы, наверное, уже несколько дней лижут глину. Она даже в мясо въелась...

И правда, шурпа отдавала глиной, разогретой на солнце, землей. Долго потом меня преследовал этот вкус, этот запах. Казалось, все вокруг, весь мир — деревья, животные, люди — сотворены из глины. А в тот момент я впервые ощутил, что человек — живая частица земли, и вспомнил слова, которые так часто повторяла бабушка: «Человек создан из праха, в прах и вернется...» Я подумал тогда о том, как редко осознаем мы эту кровную связь с природой, как мало благодарны ей за то, что породила нас, и кормит, и в конце концов, принимает в свои объятия...

Турсунбай быстро хлебал шурпу, энергично прожевывая затвердевшее от долгого кипения мясо. Даже лоб его вспотел от усердия. Абдумалик, с отрешенным лицом, словно нехотя, ел хлеб с изюмом, запивая его чаем... Нас измучило сознание, что рядом умирают животные, а мы, возле горячей печки сидя, едим их мясо. Кто виновен в этом? Кто за это ответит? На Абдумалика было жалко смотреть — он с трудом глотал прожеванный хлеб, видно, не шел кусок в горло... На целом свете, казалось, существует лишь один звук — беспомощное и пронзительное бляенье.

И в этот момент, когда наше отчаяние достигло своего предела, до нашего слуха донесся еще один звук — далекое стрекотание трактора. Мы не шелохнулись, лишь Абдумалик зыркнул на меня каким-то диким взглядом. Гул трактора становился все различимее. У Турсунбая из рук выпала алюминиевая миска, затарахтела по полу. Приоткрыв рот, он уставился на нас. И тогда Абдумалик вскочил, словно подброшенный какой-то мощной пружиной, и выбежал из дому. Гул трактора приближался.

— Сено!! Хватайте вилы, сено при-бы-ло-о-о!! — орал Абдумалик, как сумасшедший.

Схватив лежавшие в сенах вилы, мы выскочили за

ним. Рокот трактора, черным жучком ползущего к овчарне, казался нам гимном...

Сено! Сенушко! Ты ли это? Только сейчас я узнал тебе цену! Что мне золото! Сено — вот величайшая из драгоценностей в снежную эту зиму. Поклон до земли тем людям, что отправили тебя к нам! Спасибо тебе, тракторист, отважный парень, не побоявшийся пуститься в дорогу в такую морозную ночь! Если б знал ты, скольких животных спасаешь! Э-эй, овцы, овечки мои! Слышите, сено прибыло! Се-но-о-о!

Я что-то говорил самому себе в бреду горячечной радости, переполнявшей меня. Мы побежали навстречу трактору. Споткнувшись, Турсунбай нырнул в глубокий, по грудь, сугроб. Абдумалик опередил нас шагов на десять... Он размахивал шапкой и кричал. Ущелье наполнилось истошными криками овец. Они бегали по загону, и страшно было показаться им на глаза. Иные овцематки, уже не в силах поднять голову, отупело жевали жвачку, провожая нас жалобным взглядом. Невозможно было смотреть в эти потухшие глаза. Со дня на день мог начаться окот.

Не доехав до расчищенной от снега площадки, трактор остановился. Сквозь оглушительный грохот мотора доносился голос надрывающегося в крике Абдумалика. Я бросился к трактору, но, увидев прицеп, от неожиданности споткнулся и упал. В яростном бессилии я замолотил кулаками снег, заплакал в голос: прицеп был пуст. Застрявший в щели клок сена трепетал на ветру. Абдумалик кричал надрывно:

— Мерзавец, почему ты оба прицепа отдал отаре Мавлана? Овцы гибнут, жрут глину!

— Не ругайся, Нарзиев приказал!! — кричал в ответ Джуракул, по пояс высываясь из кабины трактора. — Велел все везти в отару Мавлана! Я по пути решил захватить к тебе, может, что захочешь в кишлак передать?

— На кой ты мне сдался, баран! — в ярости Абдумалик схватил Джуракула за отвороты куртки и вlepил ему оплеуху.

Оторопевший от неожиданного удара огромный Джуракул рванулся и, выскочив из кабины, ударил Абдумалика так, что тот отлетел в снег, на несколько шагов... Не ожидая, пока он поднимется, Джуракул вытащил из-под сиденья трактора какой-то длинный предмет, должно быть, гаечный ключ. Я оцепенел... Абдумалик поднялся и с бранью ринулся опять на Джуракула,

тот хладнокровно и ловко ударил его ключом по голове. Ударил, как мне показалось, не в полную силу, иначе раскроил бы череп. Абдумалик молча рухнул на бревно спящего тополя.

— Уберите вашего покойника! — крикнул нам в бешенстве Джуракул. Из носа и разбитой губы у него текла кровь. — И только попробуйте подойти ко мне — башку раскрою! Сукины дети!

Он нырнул в кабину, резко развернул трактор и поехал по ущелью вдоль ручья.

Усевшись в снег, Турсунбай плакал, как ребенок. Овцы иступленно блеяли, как бы объявляя траур по нашей радости, обернувшейся несчастьем. Многие из них уже потеряли голос, и из раскрытых ртов вылетал только хрип.

Вдвоем мы перенесли Абдумалика в дом. Он был без сознания, из-под шапки текла кровь, мы уложили его.

— Надо остановить кровь, — пробормотал я. От пережитого испуга у меня дрожали колени.

— Да-да, сейчас! — торопливо подхватил Турсунбай, раздеваясь. — Сейчас приложим сажу, вмиг перестанет течь.

Он стал ножом соскабливать с казана сажу.

— Ну вот, Нурулла, убедился? Увидел своими глазами? Ну, скажи, чем виноват бедный Джуракул? Его это сено, что ли? Куда приказали, туда и везет... Я же говорил, что мой братец без драки жить не может. Из-за того, что овцы голодают, надо человеческую кровь проливать? А что если он умрет? А? Что я маме скажу? — он всхлипнул. — Если государству нужен скот, сено доставят!

Трясущимися руками он положил горстку сажу на кровоточащую рану, прикрыл сверху клочком бумаги и обвязал голову брата полотенцем. Осторожно приподняв, я держал еле дышащего Абдумалика.

— Повезло еще — шапка смягчила удар, — продолжал Турсунбай. — А то у старшего чабана вместо одной головы сейчас было бы две.

Мы вымыли руки, поливая друг другу теплую воду из кувшина.

— Плеснуть ему в лицо холодной воды, чтоб очнулся? — спросил я.

— Не надо. Если сейчас в себя придет, то будет чувствовать сильную боль. А от этого проклятого бляенья

вообще сойдет с ума. Пусть отдохнет несколько часов. Если б его не уложили таким способом, он бы всю ночь вокруг овец бегал, этот кандидат.

— Какой кандидат?

— Ну, какой — в члены партии! А чего он старается, дубасит всех без разбору? В партию рвется, проявляет активность в общественных делах.

— Ты бы уж молчал, — оборвал я его. — Надо понять Абдумалика. Завтра он головой ответит за погибших овец. И нас с тобой не спросят, как было дело... Ты бога моли, чтобы он скорее поднялся. Иначе нам хана.

— А по нас давно уже плачут все медведи Ойкора, — горько усмехнулся Турсунбай. — И сами мы уже хуже медведей — дохлятиной питаемся. Разве это жизнь!

— Не скули, людям и не такое приходилось переживать! — раздраженно сказал я. — Надоела твоя болтовня. Пойдем, проведем отару. Теперь за Абдумалика надо работать. — Я поднял с пола фонарь и, прикрыв его полой чапана, вышел наружу.

К подветренной стене дома прибилося несколько овец. Они стояли, не шелохнувшись, непонятно было — живы они еще или уже окоченели.

— Переноси их в загон, скорее! — крикнул я Турсунбаю, бросаясь к овцам и взваливая одну на плечи.

— Теплые еще, не замерзли! — Схватив под мышки двух барашков, он припустился бегом в загон.

Минут десять мы, как грузчики, перетаскивали овец на плечах в загон. С нас градом катился пот, я слышал хриплое дыхание Турсунбая. Правда, на бегу он успевал отпускать свои ехидные замечания:

— Глянь, как они горестно подпирают стенку. Выражают заболевание старшему чабану.

— Прекрати дурацкие шуточки!

— Я не могу все время ходить с постной физиономией, как ты и Абдумалик.

— Помолчи хоть пять минут, а? — попросил я.

— Вот чудак-человек! Если я замолчу, я, как овца, окоченею!

Мы принялись загонять в овчарню тех овец, что еще держались на ногах. Дрожь от холода, сбившись в кучу, животные толпились на месте, где прежде стоял стог сена, и опустив головы, что-то искали, разгребая снег, слизывая его.

Мы гнали их в овчарню, но обезумевшие от голода и вьюги животные не реагировали ни на окрики, ни на побои. Голод и безысходность лишили их покорности. Они не верили больше человеку. Страшно высвечивался в темноте голодный блеск множества глаз — боже, как эти глаза были похожи на человечьи!

Турсунбай бегал вокруг овец, бил их по мордам, пытаясь загнать в овчарню.

— Ах, чтоб вы сдохли, твари! — чуть не плача, кричал он.

— Подожди, не бей! Они еле на ногах держатся! — крикнул я. — Как бы завтра у них не было выкидышей!

Одна совершенно истощенная овца упала от удара посохом, забилась на снегу, широко раскрыв пасть, судорожно глотнула воздух и замерла.

Мы совсем выбились из сил. Немыслимо было перетаскать на плечах всю отару, а сами овцы в загон не шли. Надо что-то предпринимать! И тут меня осенило. Я заскочил в дом, схватил в сених большое ведро, в котором мы таскали корм овцам, и заколотил в него, сопровождая этот грохот криками и понуканием. И побежал к овчарне. Словно невидимая сила согнала с места овец. Вся отара с отчаянным блеяньем ринулась за мною.

Они хватили зубами полы моего чапана, забежали передо мной и прыгали, пытаясь достать ведро; бежали к овчарне, давя друг друга. Слюна животных замерзала сосульками на моем чапане.

— Молодец, пионервожатый! — ликовал Турсунбай. — Я всегда говорил, что у тебя котелок варит!

— Когда зайдут все в овчарню, запирай двери! — крикнул я ему.

Обман удался. Я бросил ведро в дальний угол загона, и вся отара устремилась туда. Потом побежал назад, помогать Турсунбаю. Загнав оставшихся овец, мы заперли загон на крепкую палку. А с десятков слабых больных животных перенесли и положили в маленький загончик в углу овчарни. У меня кружилась голова, подташнивало. От душераздирающего блеянья овец хотелось плакать.

«Не расслабляться, Нурулла! Если ты не осилишь эти тяжкие дни, то и светлые, радостные дни будут не по плечу тебе, потому что не сможешь ты по-настоящему ценить их! Если сейчас спасовать, опустить руки

перед этим испытанием, тогда конец всему — твоей вере в справедливость, в самого себя. Да разве могут сравниться эти дни с муками войны, сотрясающими людские сердца!

Вспомни — твои дяди, Хикмат и Рахманкул, погибли на фронте, как и десятки их односельчан! Рахманкул прибавил себе два года — так он рвался защищать эту землю, каждая горсть которой дороже была для него горсти золота. И он защитил ее, отдал свою жизнь, любовь, будущее — тебе, Нурулла, чтобы ты берег эту землю и защищал ее — от холодов, от невзгод. Так неужели ты смалодушничаешь сейчас,пустишь прахом все, над чем бился Абдумалик, чему отдавал он всего себя? Кто же ты, Нурулла? Что ты за человек?»

— Бери лопату, Турсунбай! — крикнул я. — Будем овчарню чистить.

— Может, завтра почистим? — жалобно спросил он. — Зачем отару беспокоить в полночь.

— Лопату!! — заорал я, не узнавая своего голоса. — До завтра вся овчарня обледенеет!

Турсунбай вздрогнул от моего бешеного крика, испуганно бросился за лопатами. В эти минуты я по-настоящему понял Абдумалика, понял суть того, что называют ответственностью. Не подчинись сейчас Турсунбай — не знаю, что б я с ним сделал...

Он вынес из дома лопаты и, перемахнув через плетень, мы принялись ожесточенно работать — сгребать снег, смешанный с овечьим пометом, бросать его через ограду.

Не помню, сколько мы так работали — час, два... Только взмахи лопат, тяжелое дыхание и мерцание в глазах, разъедаемых потом.

Мы почти дочистили овчарню, когда перестала сыпать снежная крупа. Небо высветилось, показалась круглобокая ледяная луна, мороз окреп и соединил все вокруг хрустящими звуками крахмального снега. Измученная отара затихла. Оцепеневшие от голода и мороза овцы дремали, сгрудившись под навесом. Я оглянулся — измотанный Турсунбай спал, неловко съездившись в середине отары. Одна из овец билась в судорогах на земле. Так и есть — недоглядели. Я побежал к ней, крикнув на ходу:

— Вставай, Турсунбай! У овцы выкидыш!

Он вскочил, бормоча ругательства, сонно пяля на снег заплывшие от усталости глаза.

— Стыдно перед Абдумаликом, — проговорил я в сердцах. — Как мы завтра посмотрим ему в глаза? — На душе было тяжело...

Покряхтывая, Турсунбай растирал руками затекшие плечо и шею.

— Значит, она несколько дней на льду лежала, — сказал он, — сразу выкидыша не бывает, не кори себя... Отдохни, ты совсем спятил от всех этих дел.

— Завтра надо прокопать тропинку к роднику... — проговорил я, окидывая тоскливым взглядом всю отару.

— Ладно. Утро вечера мудренее. Давай отдохнем, говорю тебе. Сил больше нет.

Я приблизил фонарь к лицу Турсунбая. Грязь с его вспотевшего лба отслаивалась полосами. Над верхней губой ссохлась почерневшая пыль — ни дать ни взять — усы.

— Ты бы умылся. На твою физиономию смотреть тошно, — сказал я. — У самого черта случился бы разрыв сердца при взгляде на твою рожу.

Он устало улыбнулся.

— Бесштаный смеялся над заплатами... На себя посмотри. Ты похож на кота, которого собака трепала... Светает уже! Долго ты будешь измываться надо мной, пионервожатый? Или хочешь, чтоб мы свалились рядом с Абдумаликом? Иди спать! Я лягу здесь, в доме наверняка не теплее...

— Смотри, как бы тебя овечий див не сцапал, — пошутил я вяло.

Он побрел к отаре, протиснулся в середину, и не успел я выйти из овчарни, как он уже храпел вовсю.

Вьюга, наконец, утихла. Звенела хрупкая тишина, а может, то звенело в моих ушах, привыкших к непрерывному блеянию.

По снежному насту бежало холодное отражение луны.

В доме было холодно. Абдумалик метался, бредил, тулуп сполз с его плеч. Я накрыл его потеплее, затопил печь и прилег рядом с Абдумаликом. Страшная усталость не давала мне уснуть. За покрывшимся инеем окном, едва различима, плыла на восток луна, озаряя острые зубцы гор.

Я лежал, следил за скольжением луны и думал о том, что ожидает нас завтра...

В тот день, когда бригадир Эшбай покинул Мохидару, уводя на поводу гнедого коня сторожа Рахмата, до дома своего он так и не добрался.

В полночь гнедой заржал у ворот дома, который он отыскал бы на краю света. Рассерженный тем, что его разбудили, позевывая и почесывая спину, сторож Рахмат вышел во двор в белых кальсонах и чалане, наброшенном на плечи. Увидев своего коня — покрытого снегом, без всадника, — сторож оторопел. Он привязал гнедого под навесом, бросил ему сена и, одевшись, направился к дому бригадира, не переставая бормотать что-то и качать головой. Сердце его чуяло беду.

Несмотря на поздний час, окно спальни в доме Эшбая тихо светилось. Рахмат осторожно стукнул в окно согнутым пальцем, и тут же за шторой возник силуэт жены бригадира.

— Эшбай не вернулся еще, Бувниса? — спросил он, делая вид, что пришел за конем.

— Нет его до сих пор! — ответила женщина встревоженно. — Я уже волнуюсь, жду, не могу уснуть.

— Спи, куда он денется, — хмурясь, пробормотал Рахмат. — А мне конь понадобится, хотел завтра в поле выехать... Спи, спокойной ночи...

Выйдя со двора на улицу, он остановился, не зная, как быть дальше. Постоял так, подумал и направился к дому мастера Хаитбая — поднимать соседа, вместе решать, что делать. Тот молча выслушал встревоженного Рахмата.

— Утром выедем в Мохидару, — сказал Хаитбай. — Смотри, не проговорись жене Эшбая, что мы отправимся на розыски, не то в доме паника поднимется.

— Мой конь не в духе, — мрачно проговорил Рахмат. — Что-то стряслось, вот увидишь. Гнедой должен нас провести на место преступления.

— Преступления? — ошарашенно переспросил Хаитбай.

— А ты как думал? — тихо ответил сторож, устремив на него пронзительный взгляд.

Еще не рассвело, когда они отправились в путь. Рахмат опустил поводья, предоставляя коню самому искать дорогу, лишь временами натягивая их, как бы предупреждая: «Не сбейся с пути».

Вьюга лютая расходилась все пуще, неистовствова-

ла, залепляя снегом лошадиные морды. До ночи блуждали Рахмат с Хаитбаем, но ни бригадира не нашли, ни дороги в Мохидару. Только когда в полночь мелькнули вдалеке огоньки, им стало ясно, что они спустились в степь, и огоньки — это казахский аул. Лишь к полудню, измученные, они добрались кое-как до кишлака и, уже не скрывая, рассказали все жене бригадира.

— О-ой, горе мне, дом мой горит, дым глаза выел! — запричитала истошно Бувниса, раскачиваясь, как в похоронном плаче.

— Успокойтесь, не пугайте детей раньше времени, — мягко остановил ее Хаитбай, много повидавший на своем веку. — Завтра мы опять выедем на поиски...

На середине дороги Джуракул вынужден был остановить трактор — кровь текла из носа, не переставая. Он лег навзничь на сиденье, подтянул повыше колени... От усталости и потери крови кружилась голова, подташнивало. Он прикрыл глаза и минут через пять уснул, задремал в тяжелом забытьи. Вдруг — во сне ли, наяву ли — ему почудилось ржание. Он открыл глаза и прислушался, и тут же явственно услышал ржание, совсем близко. Приподнялся и в луче фар трактора увидел коня — тот бил копытом и ржал.

Натянув поглубже шапку, Джуракул открыл дверцу кабины. Он узнал коня бригадира Эшбая. Конь крутил головой и явно звал куда-то. Когда Джуракул приблизился, он заржал и трусцой направился в сторону ручья, поминутно оглядываясь, как бы проверяя, идет ли следом Джуракул.

После строительства газопровода Бухара—Казахстан—Урал в горах осталось множество глубоких рытвин. Зимой, заваленные снегом и потому скрытые от глаз, они представляли для людей изрядную опасность. Не доходя до одной из таких ям, Джуракул услышал слабые стоны. Он подбежал и наклонился: на дне ямы, почти погребенный под снегом, лежал и стонал, временами теряя сознание, бригадир Эшбай. Похоже было на то, что конь споткнулся и упал, а хозяин вылетел из седла и, угодив прямоиком в яму, сильно покалечился. Джуракул проворно спустился вниз, наклонился над бригадиром, взглянув в обмороженное лицо.

— Эшбай-ака, вы слышите меня?

— Помоги... — простонал тихо бригадир, открывая воспаленные глаза, — Кто... ты?..

— Я Джуракул, Эшбай-ака. — Парень обхватил тяжелого бригадира и приподнял его. — Вы что, не узнали меня?

Бригадир сморщился и застонал громче.

— Ноги... Обе ноги, похоже... переломал. Тащи меня, сынок... Как-нибудь... Буду стонать — не обращай внимания... — и он снова потерял сознание.

Джуракул, схватив пригоршню снега, сильно растер лицо и руки бригадира и, с трудом взвалив на спину грузного Эшбая, доволол его до трактора и уложил в кабине на сиденье. Парень действовал быстро, его лихорадило, он понимал — во что бы то ни стало надо скорее доставить бригадира в кишлак...

Минут через десять Эшбай пришел в сознание, сначала не мог понять, где он и что с ним, потом, ощутив уже привычную боль в перебитых ногах, проговорил, с трудом разлепляя почерневшие губы:

— Спасибо тебе, парень. Если бы не ты... Как это меня угораздило попасть в эту яму? Не знаю, который день так лежу... Думал, конец мне... Выходит, еще живу... — Он перевел дыхание. — У Абдумалика тяжелое положение... Отара погибает. Сено подвезти надо... в первую очередь...

Конь бригадира бежал рядом с трактором, не отрывая взгляда от кабины. На рассвете они добрались до кишлака.

— Смотри же... сено... Абдумалику, срочно...—выдавил Эшбай-ака и уже на носилках потерял сознание.

А голодный, с распухшим носом Джуракул отправился в контору совхоза, мысленно кляня себя последними словами и думая только о том, чтобы обошлось все у этого забияки Абдумалика, только бы обошлось...

VI

К утру Абдумалик пришел в себя. Хотел подняться, но перед глазами поплыли круги, в комнате потемнело... Стоило заговорить, как в затылке возникла острая пульсирующая боль.

Абдумалик отпил глоток воды из пиалы и откинулся на подушку. Когда мы зашли в дом, он лежал на боку, лицом к печке, видимо, хотел погреть рану.

— О сене слышно что-нибудь? — слабо спросил он, не поднимаясь.

— Нет... — ответил я.

— Не грей голову, еще сильнее разболится, — заметил Турсунбай, ставя на печь кумган.

— Ловко он меня... — пробормотал Абдумалик, пытаясь улыбнуться. — Мало мне, дураку... Еще бы надо...

— Ну... сначала ты его треснул, — я пожал плечами, не зная, что еще сказать.

Он повернулся на другой бок, слегка застонав, и проговорил морщась:

— Стыд какой... Люди узнают... Позор.

Я промолчал. Турсунбай искоса взглянул на нас и вышел в сени, за дровами. Вдруг там что-то загремело, вероятно, он выронил дрова, и через секунду раздался его крик:

— Эй, слышите? Оглохли вы, что ли?! Трактор! Это сено привезли, правда, сено, ур-ра-а-а!!!

Я бросился из дома, не веря уже ничему, а он вылетел следом, крича:

— Сено, говорю тебе, сено! Ур-ра-а!

Снизу к овчарне поднимался трактор с двумя прицепами, доверху полными сеном. У меня перехватило горло. Я оглянулся — Турсунбай ревел в голос, как ребенок.

Трактор приближался, мы разглядели уже тракториста в кабине и рядом с ним — дядю Гаффара, сторожа совхозных полей — известного говоруна и балагура.

Мы даже поздороваться не успели, стали сразу же охапками разбрасывать сено нашим истстрадавшимся животным. Ну и суматоха тут началась! Мы с Турсунбаем выкрикивали какие-то глупости, гоготали, стараясь перекричать блеянье овец. Вообще этот день я считаю самым счастливым в своей жизни. Надеюсь, будут и другие счастливые дни. А тогда мне на радостях самому хотелось сено жевать.

Дядя Гаффар вел себя как заговорщик. Перед отъездом тракториста он отвел того в сторону, вручил деньги и говорил что-то долго, с таинственным видом, до тех пор, пока, досадливо поморщившись, парень вскочил в кабину трактора.

— Ладно, завтра вечером, — крикнул он. — Когда корм привезу.

Дядя Гаффар проводил ревнивым взглядом удаляющийся трактор и только тогда подошел ко мне и стал осторожно объяснять цель своего приезда.

— Браток, — начал он, — такое дело, понимаешь... Дома соломинки не осталось. Дойную корову с телятком приходит хлебом кормить...

— Ну? — я еще не понимал, куда он клонит.

— Разреши, браток, привезти сюда моих четырех овец... А я здесь останусь до самой весны, помогу вам, и зарплаты никакой не надо...

Он просил преувеличенно жалобно, мне даже смешно стало. Но я сделал вид, что прикидываю и взвешиваю, и наконец вздохнул:

— Ладно, дядя Гаффар... Для отары пять-шесть овец — небольшая обуза. А вот то, что вы остались, — это для нас очень дорого. Теперь, вчетвером, полегче будет с делами управляться.

Сено забросили в дощатую пристройку без крыши и впервые за эти десять дней сели спокойно обедать. Даже Абдумалик поднялся, хоть и морщился от боли и тяжести в голове. Мы были счастливы, счастливы от того, что есть сено, а завтра ожидается подвоз кормов, счастливы, что появился среди нас четвертый — неунывающий дядя Гаффар. О том, что отец в это время лежит в районной больнице с переломом обеих ног, мы не знали, — мама просила дядю Гаффара не рассказывать о несчастье, не расстраивать нас, сердцем чуяла, что и без того нам тяжело здесь, в бескрайних снегах Мохидары...

После обеда мы вышли осмотреть отару. Овцы бродили вокруг, подбирали остатки разбросанного сена, несколько коз взобрались на пристройку и, потряхивая бородами, выхватывали оттуда и жевали сено. Чтобы согнать с пристройки нарушительниц, Турсунбай закричал и швырнул в них посох. Но козы продолжали невозмутимо лакомиться сеном. Пришлось Турсунбаю самому взбираться туда и скидывать вниз наглых животных.

В загоне дела обстояли не лучшим образом. Три овцы погибли на наших глазах — они бились в конвульсиях и взглядом молили о спасении. Турсунбай опрометью бросился в дом за ножом и, вернувшись в загон, прирезал бедных мучениц. Это преследовало нас вчерашнее несчастье — голод и иступление животных,

несколько дней кряду лижущих глину, грызущих все подряд.

Турсунбай освеживал туши, но мы уже знали по опыту, что мясо погибших овец будет невозможно есть — все тот же навязчивый вкус глины отравит пищу. Пришлось нам по пояс в снегу пробираться к ручью — выбрасывать туши на прокорм серым хищникам.

Эту дорогу в снежных барханах мы называли «канавой смерти». Муторно становилось на душе при виде освеженных туш погибших овец — глаза привыкли, а душа болела, шутка ли, за последнюю неделю погибло около пятидесяти овец.

Джандарлисайские волки, бродившие целыми стаями, среди бела дня наведывались к ручью и утаскивали туши. Волков иногда приходило до двадцати, и тогда наши псы поджимали хвосты и скулили.

— Опять за добычей явились, — негромко сообщил Турсунбай, на всякий случай сжимая покрепче ружье. И хорохорился передо мною: — А что, Нурулла, не отправить ли тебя по комсомольской путевке старшим чабаном в волчью стаю? — И добавил потише:—Лучше Абдумалика отправить, он у нас самый грамотный в политическом отношении, он их вмиг перевоспитает... — Оглядывался — не слышит ли брат — и плутовато ухмылялся.

При виде волков сердце сжималось от тревоги и страха. Ясно было, что, не найди они ничего серьезного у ручья, могут и на нас пойти. За несколько дней хищники стали полными хозяевами того места, куда мы сбрасывали овечьи туши.

С утра Абдумалик, все еще слабый, но уже деятельный и неугомонный, засыпал в ясли, сделанные из резиновых шин, соль и велел нам расчищать в снегу проход к роднику Сарыбулак.

Мы принялись за работу. Дядя Гаффар, веселый, разговорчивый, тоже вертелся с лопатой в руках, но больше развлекал нас поучительными историями, мало смахивающими на правду, или давал советы. Меня это забавляло, а Турсунбай злился. Чувствовалось, что дядя Гаффар раздражал его.

— Вы бы эти советы припасли для своего оболтуса Нарбая! — высказался наконец Турсунбай.

Дядя Гаффар слегка оторопел, но и не подумал сдавать позиции.

— Ты, парень, с какой стати лезешь в беседу взрослых? Я тебе в отцы гожусь!

— Не годитесь! — отрезал Турсунбай, продолжая орудовать лопатой. — Я червонец готов вам заплатить, только чтобы вы помолчали. Пожалейте наши уши.

— Отвратительным характером ты мне напоминаешь своего покойного отца, да будет земля ему прахом! — в сердцах воскликнул обескураженный дядя Гаффар. — Тот же нор, та же бесцеремонность! Я советую, болван, как лучше дела делать!

— Спасибо за советы. Если бы еще вы трепались поменьше, — не отставал Турсунбай.

— Умение вести беседу — украшение умного, братец! Бог дал нам язык, чтобы разговаривать... — Похоже, эти двое не уступали друг другу в болтовне.

Я тихонько усмехался, молча слушая их перебранку.

— Ошибаетесь, бог болтовню прощает. У болтливового три слова — ложь, одно — правда.

— Ну и что? Весь мир из обмана. На свете существует такая чудовищная ложь, что по сравнению с ней мои байки — молитва ангела.

— Посмотрите на этого ангела! С вами говорить невозможно!

— Вот и молчи, не петушись!..

За перебранкой не заметили, как расчистили проход к роднику, принялись таскать воду в ведрах и флягах. Нализавшиеся соли, овцы с удовольствием потягивали воду из резиновых яслей. Да и мы впервые за последние пятнадцать дней вымылись вволю, вдоволь напились. К вечеру тракторист, приятель дяди Гаффара, привез корм. В прицепе толкались овцы, их оказалось восемь.

— Мои красавицы, — любясь, пробормотал дядя Гаффар. Отделив четырех овцематок, которые вот-вот должны окотиться, он загнал их в овчарню, дал сена. Мы с Турсунбаем в это время чистили загон. — Ради бога, ребята, не говорите ничего Абдумалику, — попросил дядя Гаффар, воровато оглядываясь на двери овчарни. — Сами знаете, этот коммунист из-за государственного добра может человека убить.

Турсунбай подмигнул мне и сказал сурово:

— Да, наш брат не любит расхитителей государственного имущества.

— Ну, посудите сами, братцы... разве прокормишь семью на совхозную зарплату! Какая это зарплата? Это

суюнчи*.—Дядя Гаффар выгнал наевшихся овец из загона, похлопывая их по спинам. — Я существую за счет этих вот овец, братцы... А семья, как говаривала моя покойная матушка, что пещера: сколько ни притащишь в нее, все не заполнишь.

VII

В следующие три дня снега не было, но мороз держался, и тот, первый снег, толстым слоем укрывший мерзлую землю, не таял...

Вечером, сам управляя трактором, приехал друг Абдумалика, секретарь совхозной комсомольской организации Ташпулат Ахмедов. Мы все обрадовались.

— Все! Сегодня остаешься у нас, — обнимая его, сказал Абдумалик. — Затопим печку еловыми дровами, кизяком, состряпаем что-нибудь...

— Но я еще должен проведать отару Мавлана, — сказал Ташпулат, доставая из сумки пачку писем и передавая их Абдумалику. — Да! В совхоз приезжали преподаватели института. Оказывается, у тебя много задолжностей. Тебе бы надо съездить.

— Что ты, пока не пройдет период окота, я и шагу не смогу отсюда сделать.

Абдумалик с плохо скрываемым нетерпением просматривал пачку писем, вылавливая конверты, надписанные явно девичьей рукой — аккуратным убористым почерком.

— Ну ладно, если и впрямь сегодня оставаться, то надо съездить к отаре Мавлана. — Ташпулат направился к трактору. — Наговоримся сегодня от души. Хоть надышусь запахом еловых дров...

Абдумалик, отойдя в сторону, вскрывал письма одно за другим и жадно читал их, смущенно и радостно улыбаясь. Кажется, он не замечал сейчас ничего вокруг. Как я завидовал ему!

— Из Ташкента письма? — ухмыляясь, спросил Турсунбай. — От невестушки?

— Чего скалишься? — Абдумалик не в силах был прятать улыбку.

— Это я от нетерпения, — мгновенно ответил Тур-

* Суюнчи — подарок за радостную весть.

сунбай, который за словом в карман не лез. — Скорей бы сыграть твою свадьбу, тогда бы и я женился.

Абдумалик покраснел от удовольствия, хлопнул пачкой писем Турсунбая по лбу:

— Кто за тебя пойдет, оболтус!

— В крайнем случае у тебя отобью! — невозмутимо отвечал тот.

По-моему, нет на свете прекраснее ощущения, чем то, когда ты твердо знаешь: где-то далеко есть человек, который тебя беспредельно любит, тоскует и ждет писем. Я так мечтаю написать письмо Сабо, я мысленно пишу десятки этих писем — нежных и пылких, откровенных до предела и вдумчивых. Но в действительности... Я просто боюсь, что не получу ответа. Тогда не знаю, доживу ли я до весны. А весной... весной я снова приеду, привезу ей охапку горных цветов и скажу: «Здравствуй, Сабо! Я приехал...»

...В сенях, распространяя дурманящий аромат, горела арчовая ветка. На печи кипела шурпа. Турсунбай, задумавший жарить шашлык в тандыре, кропотливо нанизывал кусочки мяса на арчовые прутья.

— Эй, писатель, — позвал он меня, — занеси в свою потрепанную тетрадь: Турсунбай впервые в жизни готовит тандыр-кебаб. В будущем напишешь воспоминания, хе-хе...

— Обязательно напишу, смотри только, как бы он не пригорел...

За последние дни Турсунбай преобразился, и я видел, как радуется этому Абдумалик, хотя внешне и относится к брату с прежней насмешливостью. Они по-прежнему поддевали друг друга шутками, подчас довольно колкими, но все чаще замечал я теплоту во взгляде Турсунбая и заботливость в каждом движении Абдумалика.

До поздней ночи мы работали — хлопот с отарой не счесть. Когда вернулся Ташпулат и мы собрались в доме все вместе, было уже очень поздно. Мы ели тандыр-кебаб, приготовленный Турсунбаем, и похваливали его. И вправду — шашлык удался на славу!

— Ну, Турсунбай, считай, что ты остался в истории! — похлопав его по плечу, сказал я.

Потом, отяжелевший от сытной еды, я лежал на овчине и молчал, прислушиваясь к разговору Абдумалика и Ташпулата. Турсунбай и дядя Гаффар играли в карты, то и дело перебрасываясь едкими замечаниями.

Меня же очень заинтересовало то, о чем говорили два друга.

— Но ведь люди рождены, чтобы понимать друг друга, — говорил Абдумалик. — В одной книге я прочел, что в главных своих чувствах люди одинаковы. Значит, каждый должен понять другого. В главном. Разве не так? Но сплошь и рядом я натываюсь на стену непонимания очевидных вещей. Скажи на милость, что ты представляешь под словами «хороший человек»?

Ташпулат ответил не сразу. Он сидел, обхватив руками свои худые долговязые ноги, поднятые чуть не к подбородку, и щурился на огонь в печке.

— По-моему, хороший человек тот, кто желает людям добра, кто радуется чужому счастью и сочувствует чужому горю, — наконец ответил он.

— Верно, но слишком общо, по-моему. Кроме того, невозможно делать добро всем, без разбору, люди — разные, иным и плетка не помешает. Мне кажется, хороший человек — это в первую очередь человек прямой, правдивый во всем. Правдивый не только в словах, в поступках, но... как бы это сказать... в самом образе жизни.

— Что-то туманно...

— Я объясню. По-моему, самая великая, самая древняя правда на земле — это труд крестьянина, который пашет, сеет и собирает урожай.

— Это так, конечно, но времена-то сейчас другие, — возразил Ташпулат. — Прикажешь всем землю пахать? А кто у тебя в институте задолженность принимать будет?

— Не передергивай! — разгорячился Абдумалик. — Я не настолько прямолинеен. И имел в виду другое. Я хотел сказать, что за последние годы у нас развелось много личностей, которые вроде бы живут по нормам закона — не воруют, не совершают откровенного зла, но и не приносят никакой пользы. Абсолютно равнодушные люди....

— Да, и, как правило, мы относимся к ним с симпатией. Думаем: «Вот человек — скромный, не выскочка, не горлопан».

— Вот именно! — воскликнул Абдумалик. Он поднялся, принялся ворошить кочергой дрова в печке. По лицу его заплескали отблески огня. Какое прекрасное, вдохновенное лицо, подумал я, не в силах отвести от него взгляд. — А они живут, паразиты, общественный балласт, по принципу «мое дело — сторона» и «после

нас хоть потоп». А теперь представь себе такого человека на ответственном посту, где необходимо принимать важные решения каждый день, каждый час. Решать судьбы людские...

— А чего там представлять... — неохотно проговорил Ташпулат, хмурясь. — Все и так перед глазами... Новый директор всех выслушивает, но не принял еще ни одного важного решения. Целыми днями совещается с Нарзиевым и главным зоотехником... Все зло в том, что такие люди ждут не дождутся, когда сломают шею, кто осмеливается мыслить, решать, вкладывать в свое дело всю душу и рисковать. И вот тогда — они торжествуют. И наказывают виновного. Или выражают искреннее соболезнование. Балласт общества, ты сказал? Не-ет... Это не только балласт, это коррозия, разъедающая нас...

Они замолчали, думая, по-видимому, об одном и том же. Потом заговорил опять Абдумалик — негромко, серьезно:

— А очковтирательство, развращающее людей? Восхваления и раздача наград там, где нужно судить за обман народа? Откуда берутся эти гигантские цифры в отчетах о собранном хлопке, когда специалисты утверждают, что за один сезон хлопкоуборочная машина «Узбекистан» может собрать самое большее — пятьсот-шестьсот тонн хлопка? Или взять хотя бы метод искусственного осеменения с применением препарата СЖК... Все знают, что этот метод испортил наследственность овец Средней Азии, качество всемирно известного бухарского каракуля. Но кто наберется смелости сказать всю правду там, где положено, когда ошибка уже ограждена заслоном грамот, медалей, газетных статей и даже звездочкой! Вот и превращается ошибка в ложь. Притом в ложь торжествующую...

— Как же ты полагаешь бороться с этим? — спросил Ташпулат, пристально глядя на друга.

— Правдой. Везде идти напролом и говорить только правду. А она всегда побеждает, рано или поздно. И ее услышат и поймут. Бороться надо — с ложью, с очковтирательством, и не давать никакого послабления равнодушным... Знаешь, я здесь, в Мохидаре, чувствую себя, как на передовой... Мне кажется, только так и надо жить — всю жизнь чувствуя себя на передовой. И оружие в наших руках только одно — труд и правда!

Потрескивали в печке еловые дрова, Турсунбай уже спал, прикорнув на овчине, а я все лежал и мысленно перебирал в уме все слова, услышанные сегодня. Беседа двух друзей встряхнула меня, перевернула душу. Я впервые задумался над тем, что называют смыслом жизни, и понял, что многого еще не знаю, не понимаю, о многом сужу поверхностно, по-детски. И главное, понял, сколько мне еще надо передумать и перечесть, чтобы разобраться в людях, в себе, в окружающей жизни...

VIII

Наконец, мороз переломился и начал слабеть. Каждый день к полудню из-за туч проблескивало солнце и исчезало опять. Ели отряхивали от снега ветви. К овчарне стали слетаться птицы в поисках пищи. Они выстраивались на выступе плоской глиняной крыши овчарни и высматривали крошки. Нужда пригнала к людям этих неунывающих птах...

К концу недели в Мохидару приехал Нарзиев. Вылез из трактора, поздоровался со всеми одним холодным кивком. И без лишних слов, вытащив блокнот, спросил Абдумалика:

— Сколько пало овец?

От заданного вдруг вопроса Абдумалик насупился, ответил не сразу.

— Около ста пятидесяти, и еще падут... — ответил он.

— Как это понять — «еще падут»? — Нарзиев опустил блокнот, уставился на Абдумалика с откровенной неприязнью. — Мы подвезли вам сено, корма... У вас и без того большие потери.

— Корм и сено запоздали, — сдержанно ответил Абдумалик. — Овцы с голодухи глину лизали, ослабли, много больных... Положение в отаре тяжелое.

— Ну, а за что ты избил Джуракула? — вдруг спросил Нарзиев.

Абдумалик смешался, не зная, что ответить, потом взглянул исподлобья:

— Пустяки. Подрались — помирился. Сами разберемся...

— Нет уж, голубчик, слишком ты обнаглел. Ты дерешься, а мне за тебя в райкоме отвечать?

— Я за себя сам отвечу! — упрямо возразил Абдумалик.

— Да уж, ответить придется. Думаешь, за мордобой тебя в партию примут? Опозорил всю совхозную парторганизацию.

— Не знаю, что позорнее: драться по делу или лакействовать и унижаться перед директором. Беспокоитесь о собственном авторитете? — Абдумалик резко повернулся и зашагал прочь, к овчарне.

— Что? Что ты сказал, наглец? — запоздало выкрикнул тенорком Нарзиев. Ему никто не ответил. Он оглянулся на нас — суетливо, не зная, что сказать и куда себя деть. Потом, видимо, вспомнив о цели своего приезда, велел Турсунбаю: — Приведите все в порядок, завтра директор будет объезжать овчарни! — он потоптался, словно соображая, что еще сказать, и добавил: — Может, будут из района люди... Настало время поговорить с этим грубияном! — И, не прощаясь с нами, он торопливо пошел к трактору.

Его последние слова встревожили нас. Турсунбай сбежал, передал их Абдумалику.

— Пусть приезжают, кто угодно! Вот жаль — оркестр выставить не смогу, — нервно бросил он, провожая тяжелым взглядом удаляющийся трактор. — Представляешь, как бы облегчил работу на ферме этот совхозный трактор, который гоняют взад-вперед для пустых разъездов!

— Зря ты так, Абдумалик, — вмешался дядя Гаффар. Весь разговор с Нарзиевым он слушал, испуганно и почтительно вытаращив глаза, а теперь, видно, решил высказать свое мнение. — Ведь, как-никак он парторг совхоза... Звание высокое!

— Звание-то есть, — мрачно согласился Абдумалик, — да человека-то при нем нет. Нет, верно говорят люди: лучше получать тумаки от честного, чем угощение от подлеца.

— Разные поговорки существуют, парень. Еще люди говорят: по одежке протягивай ножки. Ты простой чабан, а он...

— А ему надо дать работу, с которой он справился бы: например, должность мираба или что-нибудь в этом роде, — резко ответил Абдумалик. — Может, тогда от него была бы какая-то польза.

— Ишь, разошелся! — пробормотал удивленный дядя Гаффар. — Решает судьбы, как секретарь райкома. Кто скажет, что это — рядовой чабан?

— Ахунбабаев в юности был простым кетменши-

ком, — возразил запальчиво Абдумалик. — По-вашему, если я чабан, то мне надо рот кляпом заткнуть, и, не смотря на то, что знаю положение дел в своей отаре лучше, чем Нарзиев, должен слепо выполнять его идиотские приказы? Так, что ли?

— Он начальник, вот он и приказывает.

— Пусть приказывает своей тетке.

— Э-э, парень, все-таки не мешало бы тебе поосторожней быть... — покачал головой дядя Гаффар.

— Поосторожней? Нет, это не для меня... Осторожность ходит рука об руку с трусостью. Вот вы осторожничаєте, Гаффар-ака, живете тихо-мирно, и думаете, что большую пользу приносите совхозу, если сторожите поле. День-деньской гоняться за мальчишками на беременной кобыле, отбирать у них сжатую траву — ничего не скажешь, серьезное занятие для не старого еще мужчины! Зато у вас все тихо-мирно...

— Ну, знаешь, и сторожем кто-то должен быть! — возразил задетый за живое дядя Гаффар. — А я двадцать лет скот пас, между прочим...

— Ну и что? — Абдумалик уже распалился, его невозможно было остановить, пожалуй, он не замечал сейчас, что обижает человека. — Вот взять Марданкула-бобо, — он в Отечественную первым из кишлака на фронт ушел, добровольцем. Вернулся весь израненный, инвалид. А как работал! Сейчас ему уже за семьдесят, пенсию получает хорошую. Казалось бы, сиди спокойно дома, газетки почитывай да ноги грей в сандале*. Но этот человек не может жить, не принося пользы. Поля сторожит...

По лицу дяди Гаффара было заметно, что слова Абдумалика больно его задели. Он казался озадаченным, огорченным.

— Ну, если Нарзиев не нашелся, что тебе ответить, так где уж нам, братец... — Он стоял, опершись на лопату, пристально, с прищуром глядел на Абдумалика. — Только дай тебе бог одиннадцать детей, как у меня, тогда посмотрим, что ты запоешь. Детей лозунгами и призывами не накормишь. И на одном хлебе они сидеть не станут, не те времена. Вот и будешь вертеться да соображать, как их всех накормить, одеть, обусть...

* Санда́л — низкий столик над углублением в земле с горящими углями, накрытый одеялами, — служит для согрвания зимой.

— Вы меня не так поняли, Гаффар-ака. Я совсем не то хотел сказать... — попытался объяснить Абдумалик, но дядя Гаффар обиделся всерьез.

— Как живу, так живу, дорогой мой. И не тебе меня критиковать, да и толку с этого не будет. Ты, правдолюб, давай, наставляй на путь истинный людей вроде Нарзиева. А я уже шестой десяток разменял, и жизнь прожил честную. Званий высоких не имел, но и проклятий ничьих не заработал.

Голос дяди Гаффара пресекался, и он отвернулся. Когда я увидел, как, наклонившись, он быстро утер глаза рукавом чапана, мне стало не по себе. Да и Абдумалик расстроился.

— Простите меня, дядя Гаффар, я погорячился, — смущенно проговорил он. — И не хотел вас обидеть. Вы правы — мир держится на простых и добрых людях, вроде вас...

— Да что — мы... Мы свое отскакали, теперь в больших скачках жизни участвуете вы, молодые... Только, если хочешь к финишу прийти не последним, знай: как бы ты ни был ловок, как бы ни был горяч твой конь — без поддержки друзей тебе не достичь цели. Много на твоём пути будет тех, кто захочет преградить дорогу твоему коню — ты нетерпелив, энергичен и не любишь унижаться. За это тебя многие невзлюбят. Не будешь осторожным — далеко не уедешь, сломают тебе хребет.

Дядя Гаффар говорил искренне, какая-то горечь была в его словах, словно он знал о судьбе Абдумалика такое, чего никто не знал. Удивительные это были слова. Будто произносил их не дядя Гаффар, безропотно выполняющий любое приказание начальства, а мужественный и сильный, умудренный жизнью боец...

Абдумалик, оставив лопату, внимательно слушал дядю Гаффара. А Турсунбай улыбался втихомолку, он был доволен, что прочили его задиристого брата.

— Бывает, живешь, живешь... Целую жизнь проживешь, а многого так и не поймешь... Я не семи пядей во лбу, но чужого хлеба не ел и чужую жизнь не заедал. Что только ни сваливалось на мою головушку! Всякое от людей повидал — и хорошее, и плохое... Всюду, где нарождалась или уходила жизнь, по мере своих сил старался делать добро... Так вот, скажу тебе — все горести и все удовольствия жизни не стоят одного настоящего друга. А друга надо беречь. Погоди

ему за ошибку глаза колоть своею правдой. Правда — она всякая, она кругом рассыпана, пополам с жизнью. И ты ее всю жизнь по крупинке собирай.

Молча сгребая лопатами снег, мы с Турсунбаем прислушивались к словам дяди Гаффара. Когда Абдумалик направился к дому, за вилами, дядя Гаффар пробормотал самому себе:

— Ребенок еще, настоящей беды не видел. Однажды расшибет голову о стену, тогда глаза откроются... Но молодец, цельный парень. Слова-то какие говорит — веские, настоящие... — Он вздохнул и совсем тихо добавил: — Не отказался бы я от такого сына...

Под вечер опять повалил снег и унялся лишь на другой день, к обеду. Мороз, уже слабевший, вновь окреп, с северо-востока задул тугой резкий ветер, не позволявший вывести овец из загона.

За последние дни овцы погибали реже, но из-за холодов у овцематок часто случались выкидыши. Никто, кроме Абдумалика, не знал настоящего числа павших овец и ягнят.

Почти три месяца длились эти холодные дни, до отказа забитые тревогами и заботами. С самого детства я не помнил таких холодов, таких глубоких и долгих снегов, не знал такого изнурительного труда. Мы были совершенно оторваны от жизни совхоза. Обыкновенная домашняя жизнь — в своем доме, с близкими, с часами, предназначенными для чтения книг — представлялась несбыточной мечтой. Но нам не казался подвигом этот тяжелый, выматывающий все силы труд. Это был наш долг, наша жизнь, наша трудная радость.

...В начале марта уставшая отара уже бродила вокруг овчарни, пощипывая показавшиеся из-под снега веточки полыни. И как раз в эти дни началось время тревог и забот, время, которое все мы ждали со страхом и нетерпением. Ослабленные, с воспаленными от мороза легкими, едва державшиеся на ногах овцы начали ягниться одна за другой.

В первый же день мы приняли сразу десять ягнят. Сначала принесла белоснежного ягненка пятнистая овцематка с глазами страдальцы. Как мы радовались!

— Белый ягненок, да еще первый — хорошая примета, — говорил дядя Гаффар, очищая мордочку но-

ворожденного от слизи. — Теперь нам повезет, вот увидите!

Хлопот у нас, как говорится, был полон рот. Мы брали новорожденных ягнят в дом, отогревали, откармливали сливочным маслом и несли к овцематкам. Дядя Гаффар, мастер этого дела, расцвел — он чувствовал себя необходимым, и даже более того — незаменимым. Ягнята не сразу вставали на ноги. Иные овцы, у которых забирали ягнят до того, как мать облизывала своего детеныша, не подпускали их к себе. Таких во время кормления приходилось держать, а иных и связывать. Так мы заставили кормить тех овец, у которых погибли ягнята.

Целыми днями в овчарне не умолкало бляенье голодных ягнят, не насыщающихся молоком своих тощих матерей.

Овцы ягнились круглосуточно. Ночами мы дежурили по двое, держа овец под неусыпным наблюдением, ели наспех, на ходу, что придется...

Шли дни, ягнята подросли и резво прыгали по загону. Мы бегали, играли с ними, забавными, милыми. В эти мгновения казалось — нет ближе этих невинных существ. Мы были связаны с ними древними святыми узами. В иные минуты я не мог себе представить, что настанет день — и я оставлю их и вернусь в кишлак.

IX

И только в начале апреля дрогнула зима, поползли, стали таять снега на склонах. Появились черные проплешины на скалах, забурили переполненные ручьи, раздавшись в берегах.

Впервые в жизни в полной мере, с утра и до утра, наблюдал я приход весны, и душу переполняли восторг и удивление перед этой неповторимой красотой. Душа жаждала высказаться, поделиться чувствами с другим человеком. А Сабо была так далеко...

Несмотря на значительные потери в течение зимы, костяк отары сохранился, и овцы продолжали ягниться. По подсчетам Абдумалика, потери отары были меньше среднего числа потерь совхоза. Правда, многие овцы страдали воспалением легких. Их следовало откормить и сдать на мясо — от таких уже нельзя ждать здорового приплода.

Абдумалик мучался своей виной, не мог простить себе этой зимы, ее потерь, метался в страшном беспокойстве, вставал в полночь и шел проведать отару. Его беспокойство передавалось и мне, и у меня пропадал сон. Я поднимался и плелся за ним, волоча за собою посох.

Каждый день мы встречали рассвет на холмах Джийдали. За далекими зубцами гор занималась пламенная заря, и вместе с нею — наши надежды. Поднималось величавое мать-солнце, нежно и грозно прикасаясь огненными лучами к вершинам и склонам гор, окрашивая их в алые горячие тона жизни и любви.

Я глядел исподтишка на лицо Абдумалика и видел, как менялось с зарею это лицо, каким волнением блестяли глаза, с какой одухотворенной надеждой смотрел он вдаль, на зоревые вершины.

В такие минуты он пел во весь голос странную и прекрасную песнь. В ней не было слов, но каждый звук передавал любовь к родным горам Ойкора, к ручью Каттасай, дарящему жизнь окрестным кишлакам, к пастбищам Заркамара, где пасутся тучные стада, к белоснежным хлопковым полям и к первым вестникам весны — подснежникам, фиалкам, василькам. И звуки этой песни мешались с запахом кизячного дыма, поднимающегося над кишлаком, с мирным блеянием совхозного стада, бредущего к горам, со звонкими криками мальчика-пастушка, погоняющего скот... Это была песнь о великой непрерывности жизни, о ее красоте и тревогах. Ее пели наши предки и будут петь потомки, на ней держится мир, потому что эта песнь — о любви и труде... И я учился этой песне, чтобы потом передать ее дальше — людям, я учился у гор, у солнца, дарящего жизнь, у матери-природы, у Абдумалика и бессонных рассветов...

А заря разгоралась все ярче, все ослепительней переливались в ее лучах вечные снега Ойкора, и самая высокая вершина венчалась, наконец, солнечным диском.

— Кто встает с рассветом, тот не опоздает жить! — волнуясь говорил Абдумалик, глядя на вершины гор. — Чтобы жить в полную силу, надо уметь любить. Надо жить любовью и трудом.

Я втайне записал его слова в свою истрепанную записную книжку, куда обычно записывал полюбившиеся мне стихи и песни. «Пригодится, когда буду писать о

нем, — подумал я и мысленно добавил: — И чтобы уж писать — надо уметь любить».

Да, я учился песне Абдумалика, песне, в которой была правда, сила и любовь. Он стоял рядом со мной, этот человек, просто и искренне верящий в справедливость, борьбу и счастье, и я верил в него, как верил в рассвет над вершинами гор...

Хлопоты изнурительной окотной кампании подошли к концу. В воскресенье к нам приехал Синдар Санакулов, секретарь рабочего комитета совхоза, и вручил транзистор «Вега».

— Награда за высокие показатели в окотной кампании! — Он белозубо улыбнулся и похлопал Абдумалика по плечу: — Старайтесь, братьцы. Машина за нами!

— Какие уж там награды, — смутился Абдумалик. — Вы же знаете наши зимние потери, Синдар-ака...

— Зима была особенная, мы это учитываем. — Синдар помедлил, потом сказал добродушно: — В райкоме интересовались теми, у кого кончается кандидатский срок. Ты ведь кандидат, я не ошибаюсь?

Абдумалик нахмурился.

— Как же я в такой ситуации подам заявление? Тут хоть бы из кандидатов не выгнали...

— Ничего, беда была на всех одна, повторяю тебе. Думаешь, в поселках и городах эта зима не натворила бед? Ты подавай заявление, а там видно будет...

— Нет, — покачал головой Абдумалик, и у рта обозначились жесткие складки. — Не хочу вступать в партию полупреступником. Слишком болезненный для меня вопрос, Синдар-ака. Вот кончится окот, тогда и обсудим это дело спокойно.

— В райкоме не станут ждать, когда мы с тобой обсудим. Они там все решают сами — так или этак, — серьезно проговорил Синдар.

Он пообедал с нами и уехал в другую отару — награждать чабанов. Мы с Абдумаликом стояли вдвоем на гребне горы. Турсунбай присматривал за овцами, пасущимися в низине. Дядя Гаффар на ослике ехал к овчарне, держа под мышками по ягненку и вложив в каждую сумку хурджуна еще по паре ягнят. Овцы бежали за ним следом и блеяли, а дядя Гаффар подгонял осла и говорил что-то овцам с вразумляющим выражением лица.

День был ясный, прозрачный. Белопенные облака, неподвижно парящие в высоком небе, плавилась и таяли в солнечном сиянии. Четко просматривались дали, и видно было, как на полях, у подножья гор, копошились тракторы. Громко пел жаворонок, радуясь весеннему теплу. Ближе к вечеру подул резкий порывистый ветер — прощальный привет ушедшей зимы, но весна, покрывая зеленым нарядом предгорья, уже властвовала над вспаханymi полями, над садами, сменившими белую кипень цветов на яркую зелень. С пашни, гладкой, как ладонь, поднималось тепло. Алела заря за Самаркандскими горами, подавая нам знак о грядущем теплом дне...

Через два дня приехал счетовод овцеводческой фермы, сообщил, что Абдумалика вызывают в правление.

— Та-ак... — пробормотал Абдумалик, отставляя в сторону вилы. — Начинается!

Вытащили мотоцикл, валявшийся в пыльных сенах, почистили, залили бензин, завели кое-как, и Абдумалик укатил в совхозный центр. А меня начала грызть тревога...

Х

Увидев в приемной директора Садык-бобо, Абдумалик обрадовался. Кроме Мамарахимова, приема ожидали еще трое — два старших чабана и подпасок.

— А вы легки на помине, Садык-бобо! — Абдумалик приветливо поздоровался. — Я только что думал о вас, даже зайти собирался.

— Я тоже хотел тебя видеть. Что у тебя стряслось?

В это время открылась дверь, из кабинета директора вышел посетитель. Садык-бобо поднялся и направился к дверям кабинета.

— Не уходи, поговорим. Я все знаю, — бросил он на ходу Абдумалику...

Минут через двадцать он вышел вместе с директором.

— Вот он, — кивнул Садык-бобо на Абдумалика. — Я с отцом этого парня работал, и за него самого могу поручиться.

Абдумалик поднялся и шагнул к ним.

— Вы повидайтесь с Нарзиевым и уладьте как-то свои недоразумения, — сказал директор, подавая пар-

ню руку. — А то, знаете, приходится из-за вас выслушивать в райкоме неприятные слова. И без того каждый день потчуют.

— Товарищ директор, — вмешался чабан Мирзакузи, который настойчиво пытался обратить на себя внимание. — Я принес для акта головы и ноги овец, — он семенил за директором, стараясь успеть выложить все до того, как тот скроется опять за дверью кабинета.

— Зайдите к бухгалтеру по животноводству, скажите, что я послал, — хмурясь, ответил директор. — В этом году мозоли наживем, подписывая акты. — Он зашел в кабинет и плотно закрыл за собою дверь.

Мирзакузи отошел, опустился на стул, расстроено покачивая головой. Потом достал табакерку и бросил под язык щепоть насвая.

— Зачем идти! Все равно этот сукин сын Кадыр акт не примет, — пробормотал он.

Садык-бобо отвел Абдумалика в сторону, проговорил сухо:

— Значит, дела такие: Нарзиев долго обхаживал Джуракула, уговорил его написать заявление в милицию о том, что ты его избил. Из милиции сообщили в райком... — Он досадливо насупился. — Ты тоже ненормальный. Разве можно в наше время руку на человека поднимать?

— Моя вина, я отвечу... — мрачно проговорил Абдумалик.

— Никакие твои передовые идеи, никакое твое геройство мордобой не оправдывают, — продолжал жестко Садык-бобо. — Времена не те.

Они помолчали.

— Что вы советуете делать, Садык-бобо? — спросил подавленный Абдумалик.

— Сходи к Нарзиеву, поговори. Только спокойно. Интересно, как он поведет себя. Я буду рядом, в чайхане...

Садык-бобо одернул полы яхтака* и направился через дорогу, в чайхану. Абдумалик проводил его унылым взглядом и пошел к Нарзиеву, еле передвигая ноги. Слегка приоткрыв дверь кабинета, он заглянул внутрь.

Нарзиев сидел за столом с учителем русского язы-

* Я х т а к — легкий летний халат без подкладки.

ка, в прошлом году окончившим Саратовский институт, и что-то писал, старательно хмурясь. Он взглянул на дверь и, не здороваясь, сказал:

— После обеда зайти, сейчас некогда, — и крикнул уже в закрытую дверь: — Смотри не уходи!

— Директору доклад пишут, на русском языке... — объяснил Абдумалику совхозный ветврач, прогуливающийся по коридору. — В обкоме актив собирают... Я вот тоже Нарзиева дожидаясь...

Абдумалик вышел во двор, где столкнулся с тем же горемычным чабаном Мирзакузи. Время решили скоротать за обедом. В столовой Мирзакузи подмигнул буфетчику, и тот принес бутылку водки.

— За то, чтобы этот задрыга Кадыр все-таки принял акты, — проговорил Мирзакузи, аккуратно наливая водку в стаканы. — Ну, поехали!

Абдумалик молча опрокинул стакан. Водка впервые пошла легко, согрела все внутри. Голова чуть закружилась, но продолжала оставаться ясной, ноги только отяжелели. Мирзакузи налил еще, но Абдумалик отрицательно качнул головой и пить не стал — он никогда не понимал тех, для кого выпивка была страстью и радостью.

— Не расстраивайся, сынок, из-за всех этих дел, — проговорил захмелевший Мирзакузи. — Это уж так — что на роду написано, то и сбудется.

— А что написано? — насторожился Абдумалик.

— Ну, я насчет твоих неприятностей... — пояснил Мирзакузи.

— Каких неприятностей?

— Как, ты еще не знаешь? — удивился Мирзакузи. — Тебя собираются исключить из партии!

Абдумалик рассмеялся, хотя слова Мирзакузи сильно его встревожили.

— Как меня исключат, если меня еще не признали?

— А разве в прошлом году, в это время, ты не вступал в партию?

— В кандидаты, а не в члены.

— Ну, во что признали, из того и исключат, — согласился Мирзакузи.

Он хотел еще налить себе водки, но Абдумалик молча оставил бутылку.

— Кто вам это сказал?

— Как это — кто? Люди говорят...

— Что, объявление об этом повесили на столбе? — нахмурился Абдумалик.

— Ты не кипятись. Во всяком случае, верхушки деревьев не качаются без ветра... — Мирзакузи наклонился через стол к Абдумалику и, понизив голос, заговорил слегка заплетающимся языком: — Что я тебе скажу, парень... Сам я беспартийный, но уверен, что тебя несправедливо исключают... Ну, побил Джуракула! Не сдох же он! Этого откормленного барана даже полезно побить, чтоб поворачивался живее... Ну, сказал Нарзиеву пару ласковых слов... Он ведь от этого с лошади не свалился. Мужчина на то и мужчина, чтобы от души браниться. — Мирзакузи распаялся все больше. — Э-э, разве в кишлаке можно добиться чего-то без брани? Думаешь, этот Нарзиев со всеми вежлив? Да весь кишлак слышал, как он избивал свою жену — вопила, бедная, так, что в ушах звенело. А на тебя из-за ерунды взъелся!

— Не расстраивайтесь, дядя Мирзакузи...

— Нет, ты погоди, не перебивай! Когда старшие говорят — молодые слушают. Мы тоже молчим и слушаем, когда говорят старики. Нет, подумать только — из-за какой-то чепухи исключить человека из партии? Увижу директора — скажу все, что думаю. Не расстреляют же за правду, а? Я в этом совхозе дольше всех проработал.

— Вот исключат, тогда и будете заступаться, — улыбнулся Абдумалик.

— Э-э-э! Дитя! Когда исключат из партии — конец всему. Разве что посадить могут! — кипятился Мирзакузи. К нему уже стали прислушиваться за соседними столиками.

— Не переживайте так, дядя Мирзакузи, — проговорил Абдумалик. — Поживем — увидим. Спасибо за сочувствие. Приятно, когда встречаешь такого человека, как вы... Пойду я, к Нарзиеву надо зайти.

— Не спеши! Успеешь к этому подонку! Если хочешь знать, я тоже партийный, только билета нет. У меня две бумаги, «грамуты», да полный бельбаг медалей! В газете три раза фотографии печатали. Три! — он показал на пальцах. — Я тебе покажу, сын их вырезал, бережет.

— Дядя Мирзакузи, успокойтесь, домой пора...

— Да погоди ты! Дай договорить! Я знал твоего покойного отца, — он был человеком слова, бывало, что скажет, то и сделает. Теперь смотрю на тебя — ты его

копия! Не тушуйся, парены! Ты правильно живешь! Правду в глаза говоришь! А эти Нарзиевы правды боятся пуще смерти! Ты мне верь, я износил побольше рубашек, чем ты! На этой голове немало шишек вскакивало!

— Дядя Мирзакузи, будет вам... Идите домой, а я зайду к вам на обратном пути.

Они вышли из столовой. День был ясный, солнечный. Вовсю галдели птицы на деревьях.

— Да, забыл тебе сказать! — вспомнил что-то и воодушевился Мирзакузи. — Люди говорят, что первый секретарь райкома отозвался обо мне как об удивительном человеке. Так и сказал, мол, я, — удивительный человек. Директор услышал его слова и ну меня хвалить! И такой я, и разэтакий... Хотя до этого в глаза меня не видел. А теперь, полюбуйся — неделю не могу попасть к нему на прием... Наверняка этот городской директор приехал сюда деньгу загребать. У бедняги никакого понятия о животноводстве. Все Нарзиеву отдал на откуп!

— Дядя Мирзакузи, перестаньте сейчас же. Сами предупреждали меня...

— А я независимый человек! Что хочу, то говорю!

— Довольно! Идите домой! — Абдумалик мягко обнял Мирзакузи за плечи и повернул в сторону дома. Но тот все упрямылся.

— погоди, а Кадыр? Я должен еще поговорить с этим проклятым бухгалтером.

— Завтра поговорите. Нехорошо в таком виде...

— Ладно, дома буду ждать тебя... — неожиданно согласился Мирзакузи. — Закажу жене шилпилдак*. Смотри же, заходи обязательно! У меня остались водка и коньяк после свадьбы твоего дружка Дусмата...

Он ушел, а Абдумалик остался дожидаться разговора с Нарзиевым. Он бродил по дорожке вокруг правления и думал о жизни многолетнего чабана Мирзакузи, о его простой и безыскусной жизни, прошедшей в горах, где сорок лет он пас отару; о том, как в голодные годы Мирзакузи брал втихую в колхозную отару по одной-две овцы бедных вдов и сирот, о том великом сострадании, когда человеку не лезет кусок в горло, пока он не поделится с другим... Сорок лет Мирзакузи пасет отару в родных горах, — довольствуется

* Шилпилдак — национальное блюдо; большие куски теста, отваренные в мясном бульоне.

тем, что уготовила ему жизнь, старается всем помочь, подставляет плечо под чужую ношу, безразличен к наградам, которых добиваются многие. Таким людям чужды ложь, алчность, лицемерие, интриги... Абдумалик думал о том, как надо любить и беречь таких вот простых людей, ибо они — здоровые корни общества.

Нарзиев был сумрачен, неспокоен. Увидев Абдумалика, помрачнел еще больше.

— Плохи твои дела, молодой человек, — хмурясь и барабаня пальцами по столу, сказал он. — Мы приостановили пока рассмотрение заявления Джуракула. У тебя ведь и без того серьезные просчеты, сам знаешь, сколько в твоей отаре пало овец, по многим еще акты не составлены... Ну вот, каждый день звонит начальник райотдела милиции. Да и в райкоме все уже известно.

— Вы пригласили меня, чтобы сообщить это?

— Я тебя не при-гла-сил! — повысил голос Нарзиев. — Я тебя вызвал, чтобы ты писал объяснительную записку в партком.

Абдумалик почувствовал, как, против воли, жгучая обида и ярость поднимаются в груди, стискивают горло.

— Вы заварили эту кашу, а теперь с удовольствием наблюдаете, как я буду ее расхлебывать?

— Что-что? Я... заварил кашу? — усмехнулся Нарзиев. — Ты, парень, нарываешься на крупные неприятности. Избил человека чуть не до полусмерти, угробил больше двухсот совхозных овец, и еще героем себя представляешь. На твоём месте я бы не хорохорился, а сходил бы к Джуракулу, повинился, может, он откажется от своих претензий.

— А он бы и не писал это заявление, если б вы не натравливали его на меня... Я должен знать — сейчас, немедленно, — что будет с моим делом...

— Это решит партсобрание! — Нарзиев поджал губы, исподлобья взглянул на Абдумалика. — В последний раз советую — напиши объяснительную для членов парткома, иначе тебе из этого дела не выкрутиться.

Абдумалик проговорил, стараясь казаться спокойным:

— Ничего, я как-нибудь устно объясню на партсобрании, что случилось. Расскажу, как дело было. Как вы велели Джуракулу сено везти к Мавлану, меня объехав, как я потом с пробитой башкой валялся, под вопли голодных овец. Вот только экспертизу снять не до-

гадался, да и негде было, разве у волков. Все придется выслушать, при людях. А уж партсобрание решит, что делать со мною, да и с вами тоже, потому что я внесу предложение снять вас с должности секретаря и перевести на посильную работу, с которой бы вы справились...

Нарзиев, багровый, с оторопелой ненавистью в лице, шевелил губами, пытаясь что-то сказать. Абдумалик резко повернулся и, перед тем, как захлопнуть за собою дверь, отчеканил:

— На собрание вы-зо-ве-те!

XI

В Мохидару он приехал усталым, с грустной озабоченностью во взгляде. Но, хоть и было уже темно, схватив фонарь, пошел в овчарню — взглянуть на овец.

Мы с ним долго возились там, кормили ягнят, от которых отказались матери: я держал овец, Абдумалик подносил ягненка и следил за тем, чтобы он насытился. И когда, наевшись, ягненок резво отбегал в сторону, взгляд Абдумалика теплел и улыбка трогала сжатые губы. Я то и дело посматривал на него в тревоге, но он отмалчивался, на вопросы отвечал односложно.

После полуночи, когда желтоватая луна всплыла достаточно высоко и стали видны темные склоны гор, мы подняли отару и под неумолчный шум ручья, сливающийся с воем голодных волков вдаль, погнали ее на поля долины Заркамар.

Овцы жадно хватали едва пробившие покров земли нежные травинки, а ягнята бегали, смешно и тоненько бляя, тыча мордашки в материнское вымя, мешая овцам пастись. Несколько козлов, сумрачные от того, что их разбудили, дремали на гребне холма, сбившись в кучу.

Я расстелил свой чапан, лег на спину, и в лицо мне повеяло прохладой огромного далекого неба. До рассвета оставалось еще несколько часов. Все жило, все дышало вокруг — сверкал и дробился под луной тысячами брызг неукротимый Каттасай, вбирающий ручьи вечных снегов. Доносились сюда шорохи и похрюкивание — то стадо кабанов пришло на водопой. Слышались с противоположного берега позвякивание колокольчиков и голоса чабанов — и там паслась отара...

Столетние ели, сбросив с плеч долгую зиму, неподвижно дремали в лунном свете. Прекрасный, неповторимый этот свет озарял все вокруг, творил чудеса, превращал холмы в сказочные царства. Это невозможно было выразить простыми словами. В груди моей трепетало восторженное изумление, в горле стоял ком. Я вытащил свою записную книжку, достал карандаш и стал писать, зачеркивая слова, придумывая новые, отчаянно волнуясь:

Край мой! Чтобы тебя воспеть,
Передо мною лишь два пути.
Я хотел бы поэтом стать —
Для песни такие слова сложить,
Которых никто не сумел найти.
А рифмовать — может любой.
Если же не смогу свою
Словами пересказать любовь,
Возьму кетмень — пусть руки поют.
Какие степи в моем краю
Рук моих крепких ждут!

Писал я долго, иступленно, ничего не видя вокруг, а когда поставил точку, перечел вслух несколько раз, и впервые мне не показалось чепухой то, что я сочинил. Мне хотелось петь эти строки, кричать их во весь голос, чтобы слышали горы Ойкора, чабаны на другом берегу Каттасая, стадо диких кабанов...

Я чувствовал такую нежность и любовь ко всем на свете, что, наверное, мог бы взлететь как на крыльях от распирающего меня чувства. И вдруг острая тоска по единственному человеку сжала мое сердце. О, если б мог я через горы прокричать ей о своей любви: «Сабо-о! — крикнул бы я. — Я так тоскую по тебе, Сабо! Есть ли прекраснее имя на свете? Сабо, увидеть бы сейчас хоть краешком глаза. Пусть бы ты молчала и не сказала мне ни слова — разок бы взглянуть на тебя, — мне и этого довольно!»

Нет, нет, никогда я не наглажусь на нее. Ведь она ни на кого не похожа — сказочные принцессы из самых удивительных сказок не могут сравниться с нею... В детстве я часто рисовал портреты наших гостей и дарил им на память. Но сколько раз я ни пытался, я так и не смог нарисовать ее портрет — эти милые лукавые глаза, губы, озаренные нежной улыбкой. Ты мое солн-

це, Сабо, а я — мотылек, который летит к солнцу, рискуя быть испепеленным.

Как хотел бы я, Сабо, словно в сказке поднявшись на ковре-самолете, показать тебе сверху мой край — любимые горы Ойкора, их ослепительно снежные вершины, мой родной кишлак, мать и бабушку, греющую на солнце свои старые плечи. А потом в табуне белоснежных коней, что пасутся в зеленых предгорьях Ойкора, выбрать самого легконогого и умчаться на нем к роднику Оби-рахмат, испить его ледниковую воду и, как гласит предание, вечно хранить любовь и верность друг другу...

Нашей встречи день, я дождусь, придет.

Я скажу: «Люблю», и ответишь: «Да».

Ты поверь, что этой весны свирель

Будет в наших душах звучать всегда.

Я услышал эхо собственного голоса, и опомнился, и понял, что — на мгновения? минуты? часы? — как бы растворился в этом воздухе, в этих горах. Тихо подрагивали набухшие почки на ветках миндального дерева, холмы, погруженные в таинственное молчание, прислушивались к моей песне. Я был счастлив здесь, в горах. И лучшая моя песня ждала меня впереди...

XII

Свои беды Абдумалик переживал молча, ни с кем не делиась. С того дня, как на стареньком мотоцикле съездил в правление, он ходил мрачным и замкнутым, тихонько напевая себе под нос какую-то песенку. Мы с Турсунбаем не решались задавать вопросы впрямую.

Дня через два, ближе к вечеру, приехали в мотоцикле с коляской два милиционера. Мы как раз собирались загнать овец, покормить ягнят. Увидев милицейский мотоцикл, мы с Турсунбаем, как по команде, тревожно переглянулись и уставились на Абдумалика. Он казался спокойным, только лицо побледнело и обозначились желваки на скулах.

— Вы Мирзаев Абдумалик? — спросил его милиционер, сидящий за рулем мотоцикла. Абдумалик кивнул. Милиционер подошел, откозырял привычно и предста-

вился: — Старший лейтенант Буриев, инспектор рай-отдела милиции.

Абдумалик обернулся к нам, взглядом приказывая продолжать работу, а сам отошел с лейтенантом в сторону. Удобно устроившись в коляске, лейтенант начал допрос. Их голоса не доносились до нас, как мы ни напрягали слух. Но по лицам можно было понять, что разговор идет не из приятных.

Я поднял лопату и, делая вид, что иду в овчарню, подошел поближе.

— А если бы Джуманов не свалил вас ударом, вы бы его избили до смерти? — спросил лейтенант, пристально глядя на Абдумалика.

— Не знаю, — Абдумалик поднял голову, теплое весеннее солнце ласково скользнуло по лицу, он зажмурился и улыбнулся.

— Чему вы улыбаетесь?! — возмутился милиционер. — Дело для вас очень серьезное, неизвестно чем кончится! Отвечайте по существу, в конце концов!

— По существу?.. — Абдумалик задумался и проговорил негромко: — Джуракул — неплохой парень... Думаю, мы бы с ним сами разобрались в этой драке, но... по-видимому, он испугался, что я могу умереть и ему придется ответить. Вот и поспешил настроичить вам бумагу, опередить меня... — Он улыбнулся опять открыто. — А я вот не умер... Заботы не дали умереть. И заявление писать было некогда...

Лейтенант внимательно посмотрел на Абдумалика, снял фуражку и, пригладив волосы, опять надел ее.

— Простокваши у вас не найдется? — вдруг спросил он. Турсунбай побежал в дом, вынес целую касу простокваши, и лейтенант Буриев выпил ее с нескрываемым удовольствием. — Вот что, — сказал он, отдавая пустую касу Турсунбаю. — Говорю не в службу: если сейчас вы не примете мер, на днях прокурор выдаст санкцию на ваш арест.

Я так и застыл с лопатой в руках. Турсунбай переводил испуганный взгляд с Абдумалика на лейтенанта, а Абдумалик сказал растерянно:

— Чепуха какая-то... Арест... Какой арест? Я не могу сейчас, у меня овцы не все окотились... — и осекся, поняв, что говорит несусветную глупость.

Лейтенант проговорил негромко:

— Пойдите, поговорите с Джумановым. Он должен отказаться от иска... И потом, слушайте, чем вы насо-

лили начальству? Ваш секретарь парторганизации звонит по три раза на дню — требует немедленного рассмотрения дела. Надоел, честное слово! Нет у вас связей среди районного начальства?

Абдумалик насупился, резко кивнул в сторону овчарни:

— Вот — все мои связи! Бросьте, опять прибегать к круговой поруке? Я съезжу к Джуракулу, мы с ним поговорим, думаю, помиримся.

— Вот и отлично. И впредь запомни: думай, прежде чем кулаками махать...

Они уехали. Мы стояли втроем на холме и смотрели, как маленький юркий мотоцикл, петляя, спускается вниз по горной дороге.

— Ну, довольно бездельничать, — сказал Абдумалик спокойно. — За работу, друзья. Нурулла, заводи в загон овцематок. Турсунбай пригонит отару, а я займусь кормежкой молодняка.

Он повернулся и, ловко тормозя на спуске, как мальчишка, побежал к овчарне.

Вечером он уехал в кишлак, как мы полагали — для разговора с Джуракулом. Мы прождали его допоздна и легли спать, так и не дождавшись. Проснулся я на рассвете, озябнув от утреннего холодка, и услышал, что Абдумалик уже поднимает отару. Я вскочил и, быстро одевшись, бросился догонять его.

— Ты так сладко спал, было жалко будить тебя, — ласково улыбнулся он.

Волнение вдруг сдавило мое горло, и я ответил, стараясь выровнять дыхание:

— Для меня нет большего удовольствия, чем идти с тобой рядом...

Воздух был густо насыщен ароматами трав, и этот терпкий запах напоминал мне беззаботное детство, когда по весне мы валялись и кувыркались в цветущем разнотравье. Пастбище, насыщенное влагой, раскинулось далеко вокруг и цвело день ото дня, щедро отдавая животным травы, напоенные росой.

— Звезды какие — яркие, крупные. Похоже, опять похолодает, — сказал Абдумалик, снимая шапку и запрокинув голову. — Знаешь, в этом году отлично уродится зерно. И воды будет много, так старики говорят. В высохших родниках Олчасая появилась вода. Земля досыта напилась влаги за эту зиму... Хорошо... — Он бросил на меня зоркий и ласковый взгляд и вдруг спро-

сил: — Погоним отару к подножию Замонаро? Туда еще никто из чабанов не доходил. — Он обнял меня за плечо. — Давно я не поднимался на Замонаро.

— Пошли! — воскликнул я.

— Поворачивай стадо!

Мы пустили отару по склону, а сами стали подниматься на Замонаро. Цепляясь за ветви миндаля и клена, еще утопающие в снегу, задыхаясь и взмокнув от напряжения, мы поднимались на одну из самых высоких гор Ойкора.

Зима доживала здесь свои последние дни. Посвистывал ветер, раскачивая озябшие ветки миндаля с нераскрывшимися почками. Поднималось солнце, и горы, оживая под его лучами, подставляя свои ледовые хребты нарождающемуся теплу, переливались всеми цветами спектра. Ласковый восточный ветер оглаживал крутые бока горных склонов. И подставляя лица ласке восточного ветра, мы благодарно встречали рассвет на сказочно прекрасной вершине Замонаро.

Это был наш рассвет и рассвет наших матерей, все глаза проглядевших в ожидании сыновей. Это был рассвет Сабо, снявшейся мне столько ночей. Это был рассвет узбекского дехканина с почерневшим от зноя лицом, с побелевшими от пыли ресницами — дехканина, который тяжким своим трудом облачил древнюю узбекскую землю в белое счастье. Это был рассвет всех обыкновенных тружеников, на чьих плечах держится наша матушка-земля... И за рассветами, полными тревог и забот, стоял огромный мир, кипящий грозными событиями, мир, именуемый жизнью...

Я оглянулся на Абдумалика. От ветра, должно быть, по лицу его текли слезы, а взгляд, устремленный в далекие дали, был полон решимости, силы и любви к этому огромному миру.

— Будь терпелив в делах, не торопись и всегда исправляй то, что испортил... Но не опоздай жить, Нурулла! — проговорил он негромко.

Я мысленно повторил его слова, как клятву.

Прозрачное утреннее небо отразилось зарей в снеговых склонах Ойкора. Далеко внизу, над ивами, склонившимися к ручью, возникла и покатила звонким эхом песня каменной куропатки, будившей своих сородичей и зовущей их к теплой родниковой воде...